

FOR THE PEOPLE



FOR THE PEOPLE

FOR THE PEOPLE

Annotation

Повесть В. Рекшана является переработанным и дополненным вариантом публикации в журнале. Нева № 3 за 1988 год. Автор ввел в повесть новые эпизоды и рассказы. Повесть посвящена развитию рок-музыки в Ленинграде в конце шестидесятых — начале семидесятых годов.

- [Владимир Рекшан](#)
 -
 - [OVERTURE. БЭБИ, АИ ЛАВ Ю!](#)
 - [PART ONE](#)
 - [STOP— TIME. ЯПОНСКИЙ УДАР НОГОЙ](#)
 - [PART TWO](#)
 - [CODA](#)
 - [UNDERTURE I. В ПОЛНЫЙ РОСТ](#)
 - [UNDERTURE II. ХОЖДЕНИЕ НА ЛУНЕ](#)
-

Владимир Рекшан

Кайф полный

Почти документальная рок-симфония

Художник С. Лемехов.

OVERTURE. БЭБИ, АИ ЛАВ Ю!

Иногда в пригородах бывает совсем плохо. А плохо — это когда бьют музыкантов. В иных местах бьют просто приезжих. В иных — приезжих, которые посмели танцевать с местными девчонками. Практически везде норовят съездить кому-нибудь по зубам. Но бить музыкантов — последнее дело. Все равно они приедут снова, поскольку сильнее страха перед рукоприкладством другое чувство: какое? — поди объясни. Просто надо выйти на сцену разок-другой — на сцену любую: на шикарные подмостки городских залов, где тяжелы занавеси, где огромны кулисы, когда вокруг твои афиши — разноцветные водоросли букв, или же на скрипучие сценки пригородов, вздыбившиеся перед зальчиком... Конечно, они приедут снова, потащатся после танцев на последнюю электричку, обнимая зачехленные гитары, барабанные палочки, редко когда обнимая пригородную свою поклонницу... Бьют самых неприкаянных, потому что только такие едут обслуживать танцы.

Впрочем, не знаю, как сейчас, а раньше такое случалось.

Но если бы моя воля, то к десяти заповедям, которые мы чтим как литературное творчество древних, я добавил бы еще одну — мудрую заповедь кинематографических ковбоев: «Не стреляйте в пианиста — он делает все, что может». Только бы чуть изменил голливудскую формулировку с поправкой, к примеру, на Саблино или Бернгардовку.

Есть заповеди, и мы чтим их, но есть и местное законодательство танцев — вполне эффективное. Ну а Леха Ставицкий нарушил его дважды.

До этого басист, гитарист и «труба» тряслись в прелом автобусе, прямой и переносный смысл которого был незатейлив — четыре колеса, маршрут и ревматические суставы дверей. В автобусе шел долгий разговор о недопаянном усилителе. Но все же ехать стоило, говорила «труба». Местечко, конечно, не повидло, но все же по десятке на нос...

Не такое уж интересное занятие — говорить при усилителе. Поэтому Леха углубился в чтение книжки, которую взял у приятеля. В ней гордый Карфаген противостоял Риму. Но Ганнибал уже исчерпал свою мощь. Наемная армия бунтовала. Демократией в Карфагене и не пахло, поскольку славное время античных полисов кануло в ту же Лету, над обрывом которой повис и сам Карфаген. В книге было жарко, в ней бродили боевые слоны, а за оконными стеклами автобуса моросил дождь...

Вечер начинался в восемь. Правда, стемнело уже к шести, но так гласила афиша.

Ровно в восемь, сотворив синкопу, барабанщик пробежался палочками по томам и «ведущему» барабанчику. В конце такта запела серебряная птица трубы. К девяти часам две сотни ног, послушных заданному ритму, топали в дощатый пол, который постанывал и прогибался, как царский рекрут под шпицрутенами. Три раза в неделю его проводили сквозь строй жестокие любители танцев...

Первый раз Леха Ставицкий нарушил «закон» перед антрактом. К нему подошел скуластый верзила в засаленном свитере. Из-под свитера торчала тельняшка. Верзила, покачивая рыжими кудрями и смачно дыша, требовал гитару. Сзади подначивали верзилу дружки, но Леха уперся. Честь оркестранта — на сцену не пускать никого. Поэтому пронзительная

баллада о красавице Зое и о подаренных ей чулочках осталась не спетой.

...Ах, Зоя, извечная Зоя приплатненных миноров — ля-минор, ре-минор, ми-мажор...

Верзила удивленно отпрянул. Его рыжая башка промелькнула над танцующими и исчезла в дверях.

Тогда пришло время Лехе спеть «Тутти-Фрутти», потешить вспотевший клуб славным рок-н-роллом. Леха это умел.

В антракте взмыленная толпа повалила на улицу покурить, приложиться к горлышку. В осенней темноте слышался гогот. Кого-то дубасили, гоняли по чавкающим лужам.

Басист, барабанщик и «труба» остались на сцене, а Лехе, разгоряченному пением, было все нипочем. Тогда-то он и нарушил «закон» во второй раз. Попыхивая сигаретиной, просто так, не задумываясь о последствиях, подвалил Леха к первой попавшейся красавице — яркогубой, сероглазой танцовщице.

— Ну, как мы играем? — спросил Леха.

— Клево! — воскликнула она, потряхивая белокурым шиньоном.

— Мы и битлов играем. Мы этой массовой культуры нарепетировали!

Танцовщица раскурила сигаретину, оставляя на фильтре следы от губ, и оглядела оценивающе Леху.

— Джины фирменные? — спросила она.

— «Врангель», — ответил Ставицкий.

— Штатский?

— Мальтийский, — сказал Леха. Ему уже хотелось говорить с танцовщицей. — Это абсолютно все равно. Проклятый вывоз капитала! Явная эксплуатация труда мавров и мальтийских монахов. Презренная Мамонна! Лучший способ достичь голубизны — это что? Это —

простигнуть тряпицу в Средиземном море. Лучшее индиго мира!...

— Кайфово! А мне Милка хотела недавно за сотню такое фуфло втюхать. Мульки не фирменные и зиппер пластмассовый!

Леха совсем не думал о «законах». Просто его развлекала беседа. Ему надоело говорить про усилители.

...ему нравилась сероглазая танцовщица...

Губастый трубач продул мундштук, поправил микрофонную стойку и сказал:

— Если хочешь получить, то сразу попроси, а то после танцев и нам накостыляют.

— Что же, теперь и поговорить нельзя? — возмутился Леха.

— Слышь, парень, я по танцам десять лет играю. Видишь, как рыжий на тебя смотрит?

Леха включил усилитель, подстроил первую струну и подумал, что надо заменить колки. Он глянул в зал, в котором было почему-то дымно, хотя никто не курил. В зале было пыльно и потно. Сероглазая танцовщица улыбалась Лехе.

Словно ошалевшие светофоры, по стенам мигали фонари подсветки. Кто стоял, кто сидел, все ждали.

— Да пошли они знаешь куда?!

Трубач взял трубу и подошел к микрофону.

— Я тебя предупредил, — сказал он. Барабанщик дал счет.

— О, Сюзи Кью! — истошно запел Леха Ставицкий. — Бэби, ай лав ю!

В зале завизжали и бросились истязать пол, который привычно стонал и прогибался.

Сероглазая танцовщица аккуратно подергивалась рядом со сценой, покачивая бедрами, сферические

очертания которых угадывались под черными брюками с вышитым на клеше цветком. Это был некий тюльпан, некая хризантема или георгин, некий ручной работы костерок, пожар от которого метался в ночи клеша. Он давал надежду! Он полыхал лепестками, окружившими хворост тычинок и пестиков. На нем можно было сварить уху, сжечь Джордано Бруно, сгореть самому, говорить возле него про любовь и предаваться ей...

В зале появилась рыжая башка верзилы. Она парила над танцующими, словно игрушечное солнце из папье-маше с красными завитушками протуберанцев. Рыжесть его была противоестественна, рыжесть, которая предполагает простодушие, склонность к выпивке и, кажется, ирландскую кровь, не шла к его окаменелому подбородку и косящим глазам. Хотя выпить он, по-видимому, любил.

Во втором антракте Леха продолжил задушевный разговор с сероглазой танцовщицей.

— А вы еще приедете? — спросила эта белокурая газель, этот ветерок весны, солнечный зайчик, выскальзывающий из горячей лужицы зеркальца. Так думал про нее Леха Ставицкий.

— Да, Люба! — отвечал он. — Мы еще приедем много раз, Люба, в замечательный ваш поселок, где дивны ландшафты...

— Когда это ты успел наклюкаться? — хихикнула танцовщица.

— Из бокала любви! Из него я цистерну готов выпить!

— Ой! Только смотри, наши всегда к музыкантам привязываются.

Они говорили в антракте, и Леха не видел, как рыжий верзила стал обрастать другими верзилами. Верзилы угрюмо метали молнии своих взглядов в Леху, но тут антракт кончился.

Трубач сидел, насупившись, возле барабанщика, когда Леха поднялся на сцену.

— Я не мальчик, — прохрипел трубач прокуренными связками. — Я приехал сюда получить червонец, а не потерять зубы.

— Какие зубы! — фантазировал Леха. — Ты со своей трубой вообще как архангел.

— Ну вот... — рассердился трубач, а басист и барабанщик рассмеялись. — Я сваливаю в город. Будем считать, я половину отыграл. С вас пятерик, и покедова.

Трубач схватил трубу и пробрался к выходу.

— Вася, ты не прав! — примерно так бросил вдогонку Леха.

Басист и барабанщик пожали плечами. Барабанщик дал счет...

...Это было капризное, живое существо — микрофон. Его продали Ставицкому за сорок рублей. Микрофон обладал сложным именем — МД82А. Он периодически фонил, искажал звуки, свистел. Это был троянский конь электроники: в нем отваливались проводки, клокотала мембрана. За настоящего коня с троянцев греки хотя бы денег не взяли.

Короче, МД82А сломался. На том танцевальный вечер и закончился. Танцовщики уходили не больно-то довольные. Всклокоченный директор клуба с неровно подстриженными висками шустрил у выхода. Он беззвучно шевелил губами, и, казалось, радостно втолковывал себе: «Слава тебе господи, пронесло! Слава тебе!»

Леха соскочил со сцены и догнал неторопливо уходящую сероглазую танцовщицу Любу.

— Ты что, уже уходишь?

— А что?

— Да так... Просто мы могли бы так сразу не разбегаться.

— У меня мама дома.

— Да я не в этом, не совсем в этом смысле.

— А в каком?

— В каком... Ну, как бы сказать, пообщались бы... Обсудили бы все проблемы. Ну там, про джинсы, что ли:...

— Достанешь мне джины?

— Так плевое дело.

— Понимаешь, может быть, мама в городе осталась. Надо посмотреть, горит ли свет.

— Да я не совсем в этом смысле.

— А в каком?

Мама оказалась дома. «Ну и хорошо», — подумал Леха, потому что не очень любил спекулировать на своей славе. Если бы его полюбил кто просто так, не за модные шмотки и звонкий голос... Но так его любить никто пока не хотел.

Леха чмокнул сероглазую танцовщицу в красные губы и тем ограничился. Оркестрантов подрядили играть в клубе месяц, так что спешить было некуда.

Лампочки на столбах метались от ветра, словно онемевшие валдайские колокольчики. Моросил дождик. Леха шлепал по лужам, засунув руки в недра карманов. На брезентовой ручке болталась зачехленная гитара и противно колотила по колену.

«...Бэби, ай лав ю! Тап-таба», — пел в четверть голоса Леха Ставицкий и прикидывал, в какое бы дело употребить музыкальный гонорар.

Стояла, а если точно говорить, висела, обволакивала ночь — сырая паранджа октября.

Автобусы так поздно не ходили. Леха шел на последнюю электричку, ориентируясь по

железнодорожному светофору, перед которым маячил указательный палец шлагбаума.

Леха поднялся на платформу и увидел, как верзилы лениво колотили басиста и барабанщика. Басист был повержен, а барабанщик еще отбивался барабанными палочками. Слабо понимая происходящее, Леха машинально пел про себя «бэби, ай лав ю».

— Много, падлы, выступали, понтили и выпендривались, — констатировали обвинение верзилы — эти центурионы последних электричек, эти алькапоны и лаки-лючианы танцевальных законодательств.

Леха увидел схватку и попытался проанализировать увиденное.



...О, если бы была возможность Лехе взойти на холм в тунике с аравийской защелкой на плече в виде льва, ступая по горячим камням в сандалиях из папируса, проходя между фиговыми деревьями и смоковницами. С вершины холма видны белые колонны города, конические крыши храмов, террасы, лестницы, в порту на голубой плоскости моря скопища галер... Пестрая толпа шумела бы, затихала возле холма, только

слышно, как пчелы летят, нагруженные пылью, как вращают хоботками, принюхиваясь к цветам... Справа — демос, слева — ареопаг. О, если бы были время и возможность сказать речь с холма, то сказал бы он звонким голосом, каким озвучивает регулярно МД82А, сказал бы во всеуслышание:

— Все мы, юные и мускулистые, пришедшие в этот мир во время одно, и благодарить надо случай, и целовать друг дружку в уста, за такое счастье, ведь если бы что, то и не свиделись бы никогда, разбросанные в бесконечности Вемени и Пространства!...

— Какая чудовищная случайность — счастливая случайность! — свела нас на земле в человеческом обличье, в одно время, в одном месте, на этих танцах: мы — поем, вы — танцуете! Нам бы смеяться пронзительно, оголяя молодые рты с крепкими зубами и свежими пломбами!...

...Почто кровавим друг дружке молодые рты и выбиваем крепкие зубы и свежие пломбы?! За какую такую правду, за принципы какие, за веру какую и любовь?!

И сошлись бы тогда все в круг, и взялись бы за руки демос и ареопаг, и запела бы серебряная птица трубы, и сотворил бы барабанщик синкопу, и пошли бы хороводы вокруг холма, над которым пчелы летят, принюхиваясь к цветам...

Но не было у Лехи времени и возможности подниматься на холм в тунике и убеждать ареопаг и демос.

«О, Сюзи Кью, — подумал Леха Ставицкий, удивляясь увиденной битве басиста и барабанщика с верзилами, — бэби, ай лав ю!» — подумал Леха, перехватывая гитару за гриф.

Верзил было пятеро, а Леха — один, потому что басиста сломали физически, а барабанщика — морально. У него верзилы отняли барабанные палочки.

Тяжелой доской электрогитары Леха Ставицкий махал налево и направо. Только ойкали верзилы. Потом Леха стал и сам получать. Он получал все больше и больше, но еще долго давал сдачи и думал — жаль, их не разбросал случай...

В бесконечности Времени и Пространства.

PART ONE

Где— нибудь в багдадской или стамбульской кофейне сидят над чашечками с кофе южные люди и кеифуют, то есть, насколько я понимаю, проводят в приятном расслабляющем безделье лишнее время.

Я же сижу на табурете за столом, привалившись спиной к горячей печке, и передо мной полупустая чайная кружка с потемневшей, выжатой, скучной долькой лимона. И этот цитрусовый штришок недавней трапезы — единственное, что дает право празднично размышлять о мусульманском кейфе: ведь за окнами минус тридцать пять губительных градусов Цельсия, а в двух десятках метров от моего временного жилища начинается Ораниенбаумский парк, скованный лютой зимой. Я снимаю жилье за сороковник в месяц, чтобы как-то пережить и переработать зиму, но для печали нет оснований. Парк не скучен и прекрасен. Верхний пруд перед Меншиковским дворцом закрыт льдом и снегом, а подо льдом, пусть и не бурная, как осенью, живет вода, вытекает из пруда через плотину, колеблется черной речушкой в желтоватых торосах, набирая силу на выходе из парка. Черная речушка с клецками снежных бугорков...

А в ноябре желто-кремовые стены дворца отражались в воде, и небо отражалось в воде, делая голубой воду и тончайший ледок, даже не ледок — леденец, разноцветный от неба и стен...

Но все-таки — зима. Пора вставать, но я еще долго сижу за столом, размышляя о южном кейфе, наблюдая, как за окнами гаснет день. По полу сифонит от окна к двери. У меня густая криво остриженная борода и поредевшие, невымытые волосы. Мыться в такой мороз мука и сущая нелепость. Опять в половине домов

полопались водопроводы. Значит, спасибо и за этот северный кейф над чашкой чая с цитрусовой коркой.

«Кайф, — говорю я, — кайф. Да, удивительна судьба слов! Они ведь как люди... Но у нас-то говорят „кайф“, естественней тут громкое русское „а“, заменившее „е“ — этот протяжный крик муэдзина».

Мне нравится разговаривать с самим собой. Вынужденное и желанное одиночество предоставило-таки возможность выговориться.

«А что ж, продолжаю, содержание-то кайфа, как и матерного какого-либо словечка, также далеко теперь от первоначального его смысла. Очень далеко! Он лишь мерещится на дне его многочисленных современных значений...»

Так бы и сидеть возле печки, предаваясь необязательным рассуждениям, но пора выходить на лютую улицу.

Я допиваю быстрым глотком остывший чай и закашливаюсь до слез.

Мне тридцать шесть лет, и у меня насморк.

В июне 1968 года мне исполнилось восемнадцать. Я уже мог жениться, и мне предстояло служить в армии. Но от армии у меня имелась отсрочка, а новым правом я просто, не успел воспользоваться.

В июне 1968 года я оказался в Париже, через месяц, после знаменитой студенческой полуреволюции. Деревья валили на баррикады, и в Латинском квартале теперь множество пней, а стены располосованы красным: «Нет капитализму! Нет социализму! Да здравствуют Че Гевара и Мао!» Увидев аккуратные пни в районе Сорбонны, я долго гадал: «Чем пилили? Бензопилой, наверное?» Как-то не представлялся парижский студент с двуручкой.

В маленьком городке Ля-Бурже, где родился Паскаль (это если от Парижа на юг через Дижон — то ли

в Бургундии, то ли в Шампани, то ли во Франш-Конте), состоялся матч молодежных команд СССР — Франция по легкой атлетике, в котором я принимал участие. Неожиданно мы матч проиграли. После проигрыша нас долго везли автобусом в разноцветном, густом, знойном французском вечере, высадив возле здания, стилизованного под старинный постоялый двор. В том здании состоялось нечто вроде товарищеского ужина. На нем наши французские коллеги и сверстники вели себя так, что на Средне-Европейской возвышенности подобное квалифицировалось бы как мелкое хулиганство. Коллеги переворачивали столы, били посуду, и все это легко и весело, будто праздновали полупобеду своей полуреволюции. И еще они пели «Мишель» Леннона и Маккартни. Я знал эту песню с пластинки «Битлз» «Резиновая душа» и подпевал незатейливый, казалось тогда, с особым смыслом припев:

— Аи лав ю, аи лав ю, аи лав ю!

К июню 1968 года я знал полтора десятка аккордов на гитаре, в которых и упражнялся без усталости. Я был молод, полон честолюбивых сил, амбиций и самонадеян. Впереди была вся жизнь.

Побывав в местах, где буквально накануне бунтовала молодость, я утвердился в юношеском нигилизме, и через год в Сочи, где состоялся ответный матч, явился в рваных джинсах, рваной футболке, с волосами до плеч, с первой щетиной и гитарой, озадачив тренеров сборной. Те все спрашивали о здоровье. Но в нездоровье я был уже не один. С Лехой Матусовым после тренировок где-нибудь на скамеечке под платанами мы брякали на гитаре по очереди. И в Ленинграде хватало единомышленников. Даже существовали в Ленинграде настоящие рок-группы, но на их выступления я попасть не мог, и поэтому пытался собрать собственную.

Где— то в шестьдесят пятом по ленинградскому радио прокрутили безобидную песенку «Битлз» «Герл», сообщив, что исполняют ее «наши друзья, грузчики из Ливерпуля». «Грузчики» быстро разбогатели, достигнув классово чуждых коммерческих вершин, и, быстро переориентировавшись, вчерашних друзей у нас стали поносить почем зря. Умельцы тогдашней контрпропаганды добились того, что скоро российские тинэйджеры уже бегали друг к другу с магнитофонными кассетами и крутили их сутки напролет на худых отечественных магнитофонах.

Отец научил меня когда-то исполнять на мандолине «Коробейников», используя тремоло, и этого опыта оказалось достаточно, чтобы с самонадеянностью восемнадцатилетнего, освоив на гитаре несколько звучных аккордов в первой позиции, я начал выдавать первую песенную продукцию.

Пройдя все стадии полового созревания, среднюю школу и поступив в Университет, наслушавшись «Битлз» и «Роллинг Стоунз», я с восторгом человека, выросшего на диетическом питании и вдруг отведавшего восточных перченых блюд, набросился на рок. Молодость жаждала остроты, и поклонение гонимому року давало ее в полном объеме.

В Америке молодежь бунтовала против вьетнамской войны, в Европе — против всего сразу, а в авангарде бунта шла рок-музыка. Музыкально явление эклектичное, впитывавшее по ходу всякие звуковые традиции, ложившиеся на четкий ритм, оно наполнилось молодежным нигилизмом, и нам, коль уж созрели и жаждали остроты, ничего не оставалось, как отращивать волосы, переодеваться в рваное, выпиливать из спинок кроватей деки для электрогитар и в спешном порядке искать объекты для отрицания.

Битлы, красивые аккуратные юноши, певшие красивые аккуратные песенки, стали по-хорошему

злыми и небритыми и подтвердили участие в мировом молодежном восстании гениальными пластинками — «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера» (1967) и «Белый альбом» (1968). Негр Джими Хендрикс стал играть с белыми музыкантами Митчеллом и Реддингом и потряс мир двадцатилетних своей говорящей, кричащей, рыдающей гитарой. Джим Моррисон из «Дверей» сделался символом протеста молодой Америки и вместе с Дженнис Джоплин уже приближался к той грани, за которой начиналась посмертная слава. Ян Андерсон, Джо Кукер, Род Стюарт, «Прокол Харум», «Лед Зеппелин», «Кровь, пот и слезы», «Великий мертвец» и много, много прочих — да, это были имена! Мерси-бит, ритм-энд-блюз, первые сполохи хард-рока... Толпы хиппи мечтали об Индии, наркотики же еще не стали болезнью миллионов и миллиардной преступной коммерцией, а лишь казались одним из условных символов восстания.

Мик Джаггер, лидер «Роллинг Стоунз», теперешний мультибогач, почти не уступал по популярности Джону Леннону после исполнения своей и Кита Ричарда композиции «Удовлетворение». «Стоунз» выпускают в пику битлам две прекрасные пластинки «Сатаник» (1967) и «Банкет нищих» (1968). На картонном развороте еще можно увидеть гитариста Брайана Джонса, но его уже нет в живых — первая жертва арьергарда наркотиков, первый мученик в реформаторском воинстве рок-н-ролла. Скоро с ним в ряд встанут Джоплин, Моррисон, Хендрикс...

Элвис Пресли, кажется, изрек афоризм:

— У каждого свой рок-н-ролл.

Выпилив лобзиками деки из родительских кроватей, приладив грифы, звукосниматели и струны, мы, доморощенные нигилисты, сбивались в рок-группы, которых к концу шестидесятых бунтовало в каждом институте по несколько штук сразу. В «америках» рок-

музыку уже скупал большой бизнес, а нас же, по Пресли, ждал свой рок-н-ролл, который, подлец, испортил жизнь многим, но жизнь — такая штука, ее портит не только музыка и молодость.

Боб Галкин прыгал с шестом, Леха Матусов прыгал с шестом, я прыгал в высоту без шеста, а Мишку Марского звали среди своих Летающим Суставом за удобу и подвижность. Он учился в Высшем промышленном училище имени Мухиной — «Мухе», в актовом зале которой мы и репетировали в окружении тяжелых гобеленов, резных дверей и витражей, допущенные в этакую роскошь с нигилистическими задумками при попустительстве деканата.

Боб Галкин пытался освоить четные ритмы на барабанах, Леха Матусов никак не мог совладать с бас-гитарой, я претендовал на первую гитару, а Мишка Марский колотил по клавишам рояля так, что мне, несмотря на освоенный нигилизм, становилось страшно.

Мы собрали по сусекам пару плохоньких усилителей, плохонькую акустику, пыльный лаокоон проводов, хреновенькие микрофоны. К барабанам нашим постыдился бы притронуться барабанщик пионерской дружины.

Не подозревая дальнейшего развития событий и педагогически поддерживая увлечение музыкой, вспомнив, похоже, об успешно разученных мной в отрочестве «Коробейниках», мама подарила мне чехословацкую гитару «Илона-Star-S», купленную по случаю и стоившую фантастически дешево по сравнению с нынешними ценами — сто шестьдесят рублей.

Я сочинял музыку, по ходу осваивая квадрат и нисходящие гармонии, сочинял слова, подгоняя мужские и женские рифмы, сочинял аранжировки, узурпировал полномочия дирижера и диктатора, не

терпящего возражений. Бывал неосознанно жесток к друзьям и вообще порядочной свиньей.

Однажды, рассерженный непонятливостью нигилистов, я объявил на репетиции конкурс дураков. «Побеждал» тот, кто более других ошибался. Леху, кроме прочего, я заставлял еще и выбивать чечетку, воплощать, так сказать, режиссерскую задумку.

Не знаю, почему они слушали меня, а не надавали по шее. Я требовал, требовал, требовал, не понимая, как можно ссылаться на очередную сессию, очередную девицу, на что-то там еще, а не бросить все и репетировать, репетировать, репетировать. Их молодецкие заботы казались предательством по отношению к нигилизму. Вся жизнь была впереди, подходил к концу шестьдесят девятый год.

Теперь-таки, через столько лет, рок-музыку перестали замалчивать или только ругать. Вдруг ее стали нахваливать почти без разбору, вдруг объявилось множество людей, желающих писать о ней или с ее помощью. И поселившись в Ораниенбауме с видом на царские чертоги, я неожиданно испугался, что распишут ее по необязательным страницам... Куда же мне тогда деваться со своими воспоминаниями?

А они интересны и, надеюсь, важны.

Ведь я первым в стране стал настоящей звездой рок-музыки.

Волосатикам вслед плевали старушки, хмурились милиционеры. Иногда за длинные волосы могли побить. Несколько раз, возвращаясь с репетиции вечером, мне приходилось защищать честь, и защищать кулаками. Родители перестали со мной разговаривать. В припадке какого-то юношеского безумия я ночами слушал новую музыку, записи или пластинки, днем сочинял сам, вечерами репетировал в «Мухе», терроризируя товарищей, доставал динамики, сколачивал

акустические колонки, паял провода, таскал, сотни раз таскал аппаратуру по этажам «Мухи», из «Мухи» и в «Муху», когда нас гнали оттуда и возвращали обратно. Мне не исполнилось еще и двадцати.

Тогдашние городские рок-группы, если и пели собственносочиненное, то лишь в виде кокетливой добавки к «фирме». Это называлось «снять один к одному». «Лесные братья», «Аргонавты» и «Фламинго» копировали лучше всех. Мы же репетировали свое — тяп-ляп, ржавые гвозди и горбыли, но — свое. Творили, елки-палки, наперекор Востоку и Западу. Как въедливый юноша, ночами я вслушивался не только в рок-н-роллы, но и, накупив по дешевке, в записи Вивальди, Баха, лютневой музыки, Малера и прочих, оплодотворяя в памяти рок-н-роллы гармониями великих. Впрочем, это лишь расширяло кругозор, не добавляя ничего к музыке «скайфлз» — музыке подворотен, которую я сочинял. Правда, тогда мы репетировали в окультуренном подвале ЖЭКа. Выходит, это была подвальная музыка, настоящий «андерграунд».

В результате «конкурсов» и иной террористической деятельности, Боб и Леха отдались безраздельно прыжкам с шестом, а их место заняли блистательные «слухачи», рыжие Лемеховы из Академии художеств.

В подвал на репетицию Серегу принесли, а Володя пришел сам. Он сел за барабаны, дрянные барабаны ожили, запели на разные голоса, принесенный Серега перекинул ремень баса через плечо, басовым глиссандо вонзился в первую четверть. У меня аж слюнки потекли. Такая получалась кайфовая ритм-секция!



Сергея и Володя учились на архитектурном с Альбертом Ассадулиным, вместе музицировали до поры, но Альберт, сильный тенор, уже присматривался к профсцене. У братьев имелась солидная практика, они были выразительные рослые парни с рыжими усами. Средний рост нашего нигилистического сборища равнялся 185 сантиметрам, а это тоже имеет значение. До сих пор я считаю, что для успеха в первую очередь следует понравиться девицам в зале, а девицам в зале и не в зале отчего-то больше нравятся высокие артисты.

Тогда же велись переговоры с Михаилом Боярским. Он учился в Театральном на Моховой, неподалеку от «Мухи». Там же, на Моховой, он репетировал с «Кочевниками» в малюсеньком зальчике, одно время мы репетировали параллельно.

Помню лето, зной, ангелы и кариатиды, шпильки отражаются в воде. Берем лодку напрокат и гребем по каналу Грибоедова в ласковой тополиной июньской метели. Боярский говорит, будто намеревается собрать группу, голосами аналогичную «Битлз». У меня бас-баритон, у него — высокий баритон. Мои нигилисты не

аналогичны «Битлз», а идеи Боярского не устраивают нас. И наш «Санкт-Петербург».

Названию, прическам и иным аксессуарам нигилисты тогда, да и теперь, уделяли значительную часть своей нигилистической деятельности.

— ...«Санкт-Петербург», — сорвалось с языка во время праздного толковища.

Рыжие братаны и Летающий Сустав» замерли, молчали долго, цокали языками, я же, вспотев от удачи, ждал.

— «Санкт-Петербург»? — переспросил Летающий Сустав.

— Круто! — сказали рыжие братаны.

Да, мы родились в этом городе, выросли в старом центре, и город жил в нас, и станет жить до последнего дня; мы плохо умели, но сочиняли сами, на родном языке, а ведь иные — многие! — доказывали:

— Рок не для русского языка! Короткая фраза англичанина — в кайф, а русская — длинна, несуразна и не в кайф! Не вубаетесь, что ли?

Это оскорбляло. И мечталось, пусть не на уровне четкой формулировки, проявить себя, доказать, что приобретенные с возрастом обязанности служить в армии и право жениться должны быть дополнены необходимостью обязанности и права на свой крик; словно новорожденные, мы мечтали закричать по-русски:

— *Мы есть!!!*

Я написал композицию «Сердце камня» и посвятил ее Брайану Джонсу: «И у камня бывает сердце, и из камня можно выжать слезы. Лучше камень, впадающий в грезы, чем человек с каменным сердцем...» Ми-минор, ре-мажор, до-мажор, си-мажор по кругу плюс вторая часть — вариации круга, да страсти-мордасти басо-баритона и ритм-секции. Я написал боевую композицию «Осень» и еще более боевую «Санкт-Петербург».

У меня в «допетербургские» времена имелся некоторый опыт — провал на вечере биологического факультета в ДК «Маяк»: случайный наш квартет первокурсников играл плохо, и нас освистали; однажды я помогал играть на танцах в поселке Пери ансамблю, собранному из охтинских рабочих парней — помню пыльный зальчик, помню, как перегорели усилители, помню, дрались в зале из-за девиц и помяли заодно кого-то из оркестрантов.

Уже запекались по утрам на парапетах первые льдинки. Днем же сеял дождик, а встречный ветер боронил невские волны. Той осенью семидесятого года я рехнулся окончательно. Часть жизни, что была впереди, начиналась.

У «Санкт-Петербурга» появилась «мама», «рок-мама» — Жанна, взрослая, резкая, выразительная женщина-холерик. Она устраивала джазовые концерты (с Дюком Эллингтоном и его музыкантами организовала встречу в кафе «Белые ночи»; в припадке восторга городские джазмены повывадили там стекла и снесли двери), устраивала концерты первым нашим самостоятельным рок-группам и, побывав случайно на репетиции «Санкт-Петербурга», решила содействовать нам.

Сошедший с ума, я получил с ее помощью неожиданное приглашение выступить на вечере психологического факультета Университета. Нам даже обещали заплатить. Сорок рублей.

Стоит вспомнить, как концертывали первые рок-группы. Контингент болельщиков был не столь велик, сколько сплочен и предан, рекрутировались в него в основном студенты. В вузах же, под видом танцевальных вечеров, и проходили концерты. Зал делился по интересам — к сцене прибывались преданные, а где-то в зале все-таки выплясывали

аутсайдеры прогресса. «Муха», Университет, Академия, Политехнический, «Бонч», Военмех — надо бы там вывесить мемориальные доски.

Рок-групп наплодилось, словно кроликов, каждую субботу выступали в десятке мест. Героические отряды болельщиков проявляли поистине партизанскую изворотливость, стараясь проникнуть на концерты, поскольку на вечера пропускали только своих учащихся, а посторонних боялись, зная, чем это может кончиться. Но все равно кончалось. Отчего-то наиболее удачливые просачивались через женские туалетные комнаты. Иногда влезали по водосточным трубам. Иногда приходилось разбирать крышу и проникать через чердак. Главное, чтобы пробрался в здание хотя бы один человек. Этот человек открывал окна, выбивал черные ходы. Если здание оборонялось и местные дружинники перехватывали хитроумных лазутчиков, приходилось идти повзводно напролом, пробивать бреши, срывая с петель парадные двери, и растекаться по коридорам. Бред какой-то! Видимо, не один я сошел с ума той осенью семидесятого года...

Мы привозим на Красную улицу нашу электрическую рухлядь. Там, в низеньком особнячке, дугой обнявшем двор с булыжным старинным покрытием, расположился факультет психологов. Актный зал оказался с небольшой низкой сценой, с высокими, до пыльного потолка, окнами.

Мы расставляли с братьями и Мишкой усилители и акустику, пробовали микрофоны и пытались разобраться в проводах. Эти красивые рослые парни не волновались. Я им заговорил зубы, затерроризировал уверенностью, а сам же уверен не был, и теперь мне было зябко, нервничал. Жизнь еще только была впереди, и это теперь легко делать выводы к теоретизировать происхождение и социально-

музыкальные составные рок-музыки, причины ее успеха.

Громко появилась Жанна, «рок-мама»:

— С премьерой вас, мужики! — Голос у нее высокий и ломкий. Она на таких, как мы, насмотрелась, а на меня, тогда глянув, добавила: — Перестань, право, дурить. Теперь уже ничего не исправишь, — и довольно засмеялась.

— Н-нет. Н-надо пор-репетировать. — Я еще и заикаться стал.

— Какие, к черту, репетиции! Поздно! Идите в комнату и ни о чем не думайте. Будете слушать рок-маму или нет?

— Жанна! — крикнул Мишка. — Из «Мухи» человек двадцать придет. Не знаю, как провести.

— Да, — сказал Серега, отрываясь от гитары, а Володя пояснил: — И из Академии притащатся. Надо провести. Они все с бутылками притащатся.

— Какие бутылки! — прикрикнула Жанна. — У вас же премьера, мать вашу!

— Я вам дам бутылки! — Я вспомнил о диктаторских полномочиях, перестал заикаться и дрожать.

— Шутки, шуточки, — успокоил Серега, а мне опять стало страшно.

Особенного ажиотажа устроителями вечера не ожидалось, так как «Санкт-Петербург» был еще никому не известен. Возможно, нас поэтому и пригласили. Но к вечеру народ начал подтягиваться. «Аргонавты» играли в тот день в Военмехе, а туда пройти было труднее всего. Кто-то, видимо, знал, что на психфаке вечер, и рок-н-рольщики с кайфовальщиками (как-то надо называть ту публику), сняв осаду с Военмеха, рванули на Красную улицу. Особнячок взяли «на копыя» между делом, даже не причинив ему особого ущерба.

За сценой находилась небольшая артистическая, я смотрел в щелку на толпу, запрудившую зальчик.

Холодели конечности, била дрожь, а моим нигилистам — хоть бы что. А Жанне только бы веселиться в центре внимания.

Я не боялся зала, привычный к публике стадионов, и вдруг разом мое внимание устремилось в новое русло:

— Встали! Готовность — минута! Первой играем «Осень», а после — «Блюз № 1»!

Я стоял в гриме, разодетый в малиновые вельветовые брюки и занюханную футболку. На ногах болтались разбитые кеды. Коллеги мои были под стать, а тогда, надо заметить, на родную сцену даже самые отпетые рокеры выходили причесанные и в костюмчиках.

— Ну и ну, — сказал Серега и подкрутил рыжие усы.

— Во, правильно. Счас покайфуем, — улыбнулся Летающий Сустав.

— Облажаемся, вот и покайфуем, — хмыкнул Володя.

— Пора, мужики, — засмеялась Жанна. — Я пока окно открою. Ничего, со второго этажа спрыгнете, если бить станут.

— Играем «Осень», а потом блюз! И провода не рвать! — Я устремился к двери, коллеги за мной. Дернул ручку на себя, помедлил — из зала донеслись голоса и табачный дым, — помедлил, сбросил кеды и выбежал на сцену босиком.



Мы врезали им и «Осень», и «Блюз № 1», и «Сердце камня» без пауз, поскольку страшно было останавливаться, и остановившись поневоле и услышав ликование, выразившееся в свисте, топоте, махании пиджаков и сумок над головами, битье в ладоши, бросании на сцену мелких предметов, остановившись и сфокусировав зрение и различив их лица, насмешливо-приветливые, возбужденные, вакхические и юные, эти милые мне теперь лица моей юности, остановившись поневоле, я зло понял, что зал уже наш.

Мы играли дальше под нарастающий гвалт, я метался по сцене как пойманный зверь, размахивая грифом гитары, и падал на колени, хотя никогда не метался и не падал на репетиции, и не собирался метаться и падать, но так подсказал инстинкт и не подвел, подлец, поскольку вечер рухнул триумфом и началась на другой день новая и непривычная жизнь, жизнь первой звезды городского молодежного небосвода волосатиков, властелина сердец, этим властелином стал на четыре долгих года «Санкт-Петербург».

Через неделю мы выступили в Академии, и весь город (условный город волосатиков) пошел на штурм. Двери в Академии сверхмощные, а лабиринты коридоров запутанные, и шанс устоять у администрации имелся. Но вокруг Академии стояли строительные леса, замышлялся ремонт фасада, и это решило исход дела.

«Санкт-Петербургу» предоставили в распоряжение спортивный зал и обещали через профком шестьдесят рублей.

Все желающие не смогли пробиться в Академию. Главные двери уцелели, но защитникам пришлось распылить и без того ограниченные силы и гоняться за волосатиками по лесам, походившим издали, говорят, на муравейник. Администрация пыталась перекрывать двери внутри здания, и это, отчасти сдерживая натиск, лишь отдаляло развязку.

Случайный имидж премьеры, вызванный страхом и инстинктом самосохранения, стал ожидаемым лицом «Петербурга», и было бы глупо не оправдать ожиданий.

Малиновые портки оправдали себя, а босые ноги — особенно. Я добавил к костюму таджикский летний халат в красную полоску, купленный год назад в Душанбе, и на шею повесил огромный тикающий будильник.

В спортзале не предполагалось сцены, и мы концертировали прямо на полу. На шведских стенках — народ, народ сидел и висел, как моряки на реях, перекладины хрустели и ломались, кто-то падал. В разноцветной полутьме зала стоял вой. Он стоял, и падал, и летал. И все это язычество и шаманство называлось вечером отдыха Архитектурного факультета.

Я сидел на полу по-турецки или по-таджикски, и сплетал пальцы на струнах в очередную композицию, когда вырубил электричество. Сквозь зарешеченные

окна пробивался белый уличный свет. В его бликах мелькали тени. Стоял, падал, летал вой, и язычники хотели кого-нибудь принести в жертву. Тогда Володя стал лидером обесточенного «Петербурга» и на сутки затмил славу моей «Осени». Он проколотил, наверное, с час, защищаемый язычниками от поползновений администрации. Он был очень приличным барабанщиком, даже если вспомнить его манеру играть теперь. Особенно хорошо он работал на тактовом барабане, и особенно удавались ему синкопы. Он играл несколько мягковато и утонченно для той агрессивной манеры, которую желал освоить, но таков уж его характер, а ведь именно характер формирует стиль.

Братьев Лемеховых все же не исключили из Академии. Наше выступление даже пошло на пользу — ремонт здания уже нельзя было откладывать на неопределенное «потом».

В родительской квартире на проспекте Metallistov (то ли в честь Фарнера, то ли в честь Гилана, на радость теперешним «металлистам») я оставался один, и с утра телефон не умолкал, напоминая о славе и подстегивая самолюбие.

Звонили и по ночам. Приходилось выбегать из постели в коридор, пока не успели проснуться родители.

Слышались в трубке смешки, долгое дыхание, перешептывание, хихиканье. Утром звонили приятели по делу и с лестью, а по ночам не по делу звонили девицы: «Вы извините... хи-хи... Вы, конечно, нас простите... хи-хи... Может, вы не отказались бы сейчас к нам... хи-хи... Сейчас приехать вы можете?» Отчего-то ночные звонки злили. Я, естественно, мог приехать, а иногда даже и хотел, но теперь приходилось осваиваться в новой обстановке и быть настороже.

Пришлось на ходу досочинять программу, убирать из нее некоторые песни лирико-архаического толка,

заменяя на тугой около-ритм-энд-блюз. По утрам я колотил на рояле, тюкал известными мне аккордами и манкировал Университет. Чиркал на бумажке:

«Мои гнилые кости давно лежат в земле.
Кофе, кофе, кофе — ты аутодафе!»

Это сочинение так и не дожило до сцены.

«Ты, как вино, прекрасна.
Опьяняешь, как оно.
Ты для меня как будто
Веселящее вино!»

А вот это стало супер-боевиком.

«Петербург» довольно быстро привык к славе, и стоили мы теперь около восьмидесяти рублей. Но рублей не хватало, поскольку усилители у нас были плохонькие, акустика хреновая, микрофоны вшивые, а провода запутанные. Этих рублей не хватало никак.

И еще я собирал пластинки. Собрал десяток пластинок «Битлз» в оригиналах «Парлафона» и «Эпплаз», от «Плиз, плиз ми» до «Лет ит би», десяток «Роллинг Стоунз», «Стэнд ап» и «Бенефит» андерсеновского «Джетро Талла» плюс охапку классической музыки.

В начале семидесятого года я в последний раз отличился на спортивном поприще, выиграв «серебро» на Зимнем первенстве страны среди юниоров по прыжкам в высоту, весной в Сочи повредил коленный сустав, а в конце года залеченное, казалось бы, совсем колено порвал еще раз. На перекрестке судьбы с юношеским вселенским задором возможным казалось

все: и причуды первой звезды рока, и суровая олимпийская стезя.

Мой тренер, великий человек, сокрушался:

— Он хиппи! Я же был в Америке и видел таких с гитарами! Он же настоящий хиппи! Сделайте же с ним что-нибудь!

Но я ничуть не относился к бездеятельным хиппи. Я являлся деятельным безумцем молодёжности, не понимая, в начале какой тропы нахожусь — ровной и стремительной сперва, но теряющейся далее в чащобах страстей.

Во второй половине шестидесятых административно-культурные единицы относились к року у нас в стране снисходительно-доброжелательно, а к концу десятилетия обиженно-индифферентно. Кажется, в 1969 году ленинградский состав «Фламинго» выступал в Политехническом институте и перед выступлением у «Фламинго» сломались усилители (добрая наша традиция). Пока усилители чинили специалисты, публика чинила залу ущерб, вырабатывая, по Павлову, рефлекс на отечественный рок. Тот день стал переломным во взаимоотношениях административно-культурных единиц и любителей новой музыки. Вышел указ, обязывающий иметь всякому ансамблю в составе духовую секцию, запрещающий исполнять композиции непрофессиональных авторов, обязывающий всякую группу приезжать в Дом народного творчества на улицу Рубинштейна и сдавать программу комиссии, состоящей из тех же административно-культурных единиц. Однако! Мы и такие же, как мы, мыкались по случайным помещениям, из которых нас гнали взашей по поводу и без повода, мы скопидомничали, собирая жалкие рубли на аппаратуру, мы, собственно, были вольными поморами, а нам предлагали крепостное право, нам предлагали оставаться лишь народной самодеятельностью, но

ничего не делать самим. Разрешалось лишь мыкаться и скопидомничать. Однако!

Однако систему пресечения еще не отработали, но был первый шаг, точнее, подталкивание к подполью. Удавалось еще концерттировать в вузах, но противникам уже удавалось пресекать концерттирования. К началу 1971 года в стылом ленинградском воздухе запахло войной.

Коля Васин, рослый и восторженный бородач, заметно выделялся из публики тех лет. Он считался реликвией и гордостью города (условного города волосатиков), потому что никому более не то чтобы не удавалось, а даже и не мечталось получить посылку от самого Джона Леннона. А Коля Васин получил. После раскола «Битлз» Джон собрал «Пластик Оно Бэнд», который выступил с концертом в Торонто. Коля Васин поздравил 9 октября 1970 года Джона Леннона с тридцатилетием, а благодарный Джон Леннон прислал Коле Васину пластинку с записью концерта в Торонто. Там Джон исполнил «Дайте миру шанс», и под его лозунгом проходят сейчас массовые форумы борцов за мир. «Коле Васину от Джона Леннона с приветом» — такой автограф на невских берегах не имел цены.

Этот-то Коля Васин и вызвал меня к себе по очень важному делу. Не помню точно, но кажется, стояли холода, и я долго трясся в трамвае, пока добрался до Ржевки. В этом несуразном районе, где деревянные частные дома соседствовали с застройками времен архитектурных излишеств, и жил корреспондент лидера «Битлз». Найдя дом, я поднялся по лестнице и позвонил. Мне открыл Коля Васин. Он был одет в широкую, не заправленную в брюки рубаху и домашние тапочки. Мы обнялись по-братски. Я довольно сдержан в проявлении чувств, но так полагалось в этом доме. Мы прошли в комнату, по которой сразу можно было

представить жизненные приязни хозяина. На стенах висели фотографии «битлов», особенно Джона, стеллажи были заставлены коробками с магнитофонными пленками, тут же стоял магнитофон и колонки, проигрыватель, пластинки стопками лежали повсюду, а увесистые, величиной с рождественский пирог, альбомы составляли, пожалуй, главную достопримечательность. Коля Васин работал художником-оформителем и, судя по этим альбомам, художником-оформителем являлся отменным. Несколько альбомов он посвятил «Битлз», имелся альбом, повествующий об истории отечественного рока. В нем хранились редчайшие фотографии, и если бы его сейчас издать, то издание пользовалось бы спросом и его можно было бы обменивать населению на макулатуру. И это без обидного подтекста.

Коля Васин сказал:

— Есть идеи. Есть замечательные идеи. Сейчас придет наш человек и все расскажет, а пока, извини, старик, я поставлю Джона.

Он поставил Джона, закрыл глаза и, сидя в кресле, стал раскачиваться под музыку, кайфовать, а я стал ждать «нашего человека», поскольку ехал на Ржевку не кайфовать, а слушать идеи.

Скоро «наш» появился. Худощавый и белокурый, с нервным лицом, с прозрачными глазами, одетый в серый костюм, светлую рубашку, галстук. На лацкане пиджака поблескивал комсомольский значок, и не просто значок, а с золотой веточкой. Такой значок должен был говорить об особых полномочиях. Тогда я представлял «нашего человека» другим — волосатиком в поношенной экипировке, так я выглядел сам, но Коля Васин предупреждал — придет «наш», а я верил Коле Васину.



— Арсентьев, — представился человек с полномочиями.

Он смотрелся года на двадцать четыре.

Арсентьев сел, потер зябко ладонью о ладонь, помолчал и начал говорить, словно не для меня, а вообще, лишь изредка бросая короткие взгляды:

— Есть идея организовать клуб. Некое сообщество людей,, объединенных одними интересами, и таковой опыт уже имеется в организации фотоклубов, филателистических и нумизматических клубов. С молодежью, увлекающейся рок-музыкой, дело обстоит не просто, но есть мнение, которое я представляю, что стоит попробовать и объединить их, и сбить нездоровый ажиотаж, который музыкантам только вредит, и дать рост наиболее талантливому.

— «Санкт-Петербург» — самая крутая команда в городе! — это Коля Васин перестал кайфовать и включился в разговор.

Арсентьев посмотрел на меня внимательно и продолжил:

— Но и много, естественно, противников. Поэтому мы должны сперва организовать, представить

программу действий, провести ряд мероприятий и поставить противников! леред фактом. Эта анархия, это «каждый за себя» ничего не даст. Может, стоит подумать и приобрести общую клубную аппаратуру и тем гарантировать профессиональное звучание каждого выступления.

— Да, да, аппаратура нужна! — Я был согласен. Я был согласен объединиться хоть с чертом лысым, чтобы гарантировать профессиональное звучание, и не мог сдержать волнение перед «нашим человеком», обладающим полномочиями.

— Уже согласились «Аргонавты», «Белые стрелы», «Славяне» и даже «Фламинго». Мы победим, старик! — воскликнул Коля Васин.

Помню, опять было холодно, но лед на Неве уже сошел. Мне велели явиться в один из воскресных дней к Медному всаднику, что я и сделал. Большая группа волосатиков по велению Арсентьева также явилась к памятнику. По ходу приветствуя знакомых, подхожу к Летящему Суставу.

— Чего ждем? Что-то будет, Мишка?

— А все ништяк, чувачок, ништяк! Зачем-то ведь звали.

Я завидовал простоте его реакций, чувствуя, что неожиданная слава делает меня осторожным и даже пугливым.

Подходили знакомые, посмеивались, подошел Коля Васин — восторженный голос его слышался издалека. Он был в кожанке времен Пролеткульта, кепке-восьмиклинке, сшитой из потертой джинсовой ткани, крупный круглый значок на лацкане кожанки «Imagine» походил на мишень, и вся наша пестрая группа походила на мишень. Но выстрела не произошло. Раздалась команда, мы двинулись к дебаркадеру, что стоял у парапета напротив Медного всадника, и, к

общему удивлению, погрузились на речной трамвайчик, который тут же и отвалил от дебаркадера.

Появился Арсентьев. В аккуратном плаще строгой расцветки, с аккуратным пробором. Он вежливо приветствовал каждого рукопожатием. Ладонь у него оказалась холодная, а пальцы цепкие и сильные. Руководителям групп предлагалось пройти в овальную каюту, а рядовым деятелям рок-музыки — в общую.

— Касты какие-то, — расстроился Мишка. — Вы, значит, брахманы, а мы — пушечное мясо рок-н-ролла? Н-да. Ништяк!

В овальной каюте собралась элита; Арсентьев повторил более развернуто то, что я уже слышал на Ржевке, и предложил наметить конкретный план и проект Устава создаваемого Клуба. Говорили много глупостей, Арсентьев конкретизировал и поправлял, а его конкретизировала и поправляла такая же белокурая и голубоглазая, как Арсентьев, молодая женщина, так же строго и аккуратно одетая и причесанная. Арсентьев и Белокурая сидели рядом. Дебаты продолжались бесконечно, и я вышел в общую каюту, где оказалось веселее и бесшабашнее. Брякала посуда, курили — табачные облака клубились над головами рок-н-роллыциков, запах горчил.

Музыкальная общественность изъявила желание, и желание исполнилось — речной трамвайчик подошел к ближайшему дебаркадеру и выборные от рок-н-роллыциков рванули в ближайший гастроном. По их возвращению круиз продолжился.

В итоге приняли на речном трамвайчике Устав — довольно жесткий Устав: многое запрещалось — постановили скинуться по двадцать рублей в кассу Клуба и от Арсентьева получили указание ждать дальнейших указаний.

Этот вольный разинский круиз добил сомневающихся, и теперь мы представляли из себя

ярких сторонников долгожданного Клуба, что принесет долгожданную легальность, признание и профессиональное звучание.

Мы ждали дальнейших указаний Арсентьева.

А пока что — квинтэссенцией сезона, катаклизмом года, землетрясением нравов... «Мухинскому» училищу исполнялось сколько-то там круглых лет. Нас, как сиюминутных знаменитостей, чуть не слезно просили украсить выступлением «Санкт-Петербурга» юбилей. Мы и украсили, чем смогли.

На вечер прибыло много выпускников прежних лет, и они, придя по пригласительным билетам к началу вечера, увидели огромную толпу, сгрудившуюся у дверей, запрудившую даже пол-улицы, на которую выходил фасад училища. Испуганный милиционер пытался объяснить с толпой через мегафон, но толпа имела навык, толпа стояла стеной, и обладатели пригласительных билетов в большинстве не смогли попасть в училище, а наиболее активных, возмущающихся вслух, пытавшихся пробиться к дверям юбиляров, милиция как раз и забрала. Имевшая же навык толпа напирала, но напирала, не нарушая курс предписаний социалистического общежития на глазах милиции.

Я оказался в толпе, и меня передали через нее к дверям на руках. В самом училище оказалось не лучше. Затейливые коридоры барона Штиглица походили на цыганский табор. Единственно, что не жгли костров. Осторожность и пугливость во мне прогрессировали и приводили к противоположным проявлениям. И хотя я более не практиковал выбегать на сцену босиком, но на колени все же падал и метался зверем, и прыгал через колонки, и кричал в микрофон про «осень» и «сердце камня». А Володя лишь еще более преуспел в синкопах, а Серега еще и дул в губную гармонику, а Мишке хоть и

было иногда не до клавишей, но зато еще более он соответствовал прозвищу Летающий Сустав, летая по сцене с бубном и чаруя экзальтированных болельщиц.

Так что два часа сама в актовом зале — и все.

Теперь я даже ставил под удар родителей: они занимали довольно серьезные должности на производстве, а на одном из совещаний по идеологии упомянули «так называемую рок-музыку», упомянули и «Санкт-Петербург», приписав ему чуть ли не монархистские настроения.

Я этого не понимал. Мы ведь просто сочиняли музыку и слова к ней. И просто выступали не бог весть на каких подмостках. Может, это были хреновая музыка и хреновые слова, но мне казалось, что наоборот, «Петербург», запевший на родном языке, достоин пусть не поддержки, но хотя бы невмешательства. Я очень надеялся на Клуб, на Арсентьева и на его значок с золотой веточкой.

По сложной системе конспиративных звонков узнаю — ночью на улице Восстания, в здании бывшей гимназии произойдет встреча лучших клубных музыкантов с польской рок-группой «Скальды», приехавшей в СССР на гастроли. Иметь при себе три рубля на организационные расходы. Играют с нашей стороны «Фламинго» и «Санкт-Петербург». Под утро — «джем», то есть совместное и импровизационное выступление музыкантов из разных составов. Лишнего не болтать. Аппарат выкатывает «Фламинго».

Не болтая лишнего, собираемся и едем в метро, встречаем по дороге Никиту Лызлова, бывшего участника одной из университетских групп. Никита учился на химическом и там устраивал «Петербургу» концерт.

Не болтая лишнего, зовем Никиту с собой.

— Ночью! Концерт со «Скальдами»? Бред!

У Никиты крупное вытянутое лицо, широкий лоб марксиста, грамотная усмешка и прочный запас юмора.

— Ночью концерт со «Скальдами». Правда.

— Но ведь разыгрываете!

Закljučаем пари и едем, на улице Восстания находим гимназию — тяжелое, мертвое, без света в окнах здание. В дверях быстрая тень — открывают. Поднимаемся по гулкой пустой лестнице и оказываемся вдруг в большом ярком зале с узенькими занавешенными окнами. Народу мало — все знакомые. Но незнакомое чувство простора и свободы в ограниченном просторе гимназии, в которую они вошли по-человечески через дверь, а не через пресловутую женскую-туалетную комнату, это незнакомое состояние делает их робкими, тихими, даже серьезными.

Знакомят со «Скальдами». Братаны Зелинские, Анджей и Яцек, с сотоварищами — очень взрослые и, соответственно, пьяные славяне. Арсентьев тут же, и Васин, и всякая музобщественность, обычный мусор, ktorого — чем с большим напором катила река рок-н-ролла — всегда хватало.

Играет «Фламинго», играет «Санкт-Петербург». С помощью проигранного Никитой пари разошлись-таки в непривычной обстановке и комфорте, и я свое откувыркался по сцене и падал несколько раз на колени, про себя понимая, что пора менять «имидж» «Петербурга», «имидж» ярых парубков на что-то другое, на «имидж» людей, не стремящихся к успеху, а достигших его.

Братья Зелинские, надломленные гастрольным бражничеством и буйством ночного сейшена, на вопрос Росконцерта — с каким из советских вокально-инструментальных ансамблей «Скальды» согласились бы концерттировать? — ответили:

— Если пан может, то пусть пан даст нам «Санкт-Петербург». — Ответили и, говорят, заплакали.

Пан из Росконцерта не знал про «Санкт-Петербург» а если и знал, то знал так, как знала Екатерина II про Пугачева — страшно, но очень далеко, а между мной и им — не один полк рекрутов и не один Михельсон — преданный генерал...

После комфортного сейшена на улице Восстания конспиративный авторитет Арсентьева и, конечно же, Васина стал непререкаемым. Мне же казалось — я более не распоряжаюсь полностью своим детищем, своим «Санкт-Петербургом», а становлюсь исполнительным унтером в железном легионе Арсентьева.

Его адепты, закатив невидящие глаза, повторяли:

— *Идея.*

— Наша *идея.*

— *Идея* нашего Клуба.

— Мы не позволим, чтобы кто-то предал нашу *идею!*

— Наша *идея* священна!

«Однако черт с ними, — думалось мне. — Должны же быть и толкователи, священные авгуры, стоики и стойкие талмудисты. Если есть священная *идея*, то пусть их — значит, она есть. Главное, Клуб — это глоток свободы, это минимальный комфорт, это будущие концерты без глупой тасовки с администрацией, которой вечно объясняй, что ты не чайник и не монархист, и не бил ты окон, и не сносил дверей, хотя и рад, что кто-то бил и сносил, поскольку, если ты, администратор, видишь в нас монархистов, то мы видим в тебе козла вонючего, а точнее — монархиста в квадрате, ведь это нужно быть стопятидесятипроцентным монархистом, чтобы услышать в наших лирических, пардон, песнях прокламацию абсолютизма!»

В чем никогда не было дефицита, так это в дураках. И в новом Клубе дураков хватало.

Мы же стояли в их первых рядах.

А землю все-таки пробудило тепло, от тепла земля проросла травой, деревья — клейкими листочками. Ночи же от весны к лету становились все светлей, пока не вылиняли, как тогдашний мой «Wrangler», купленный за тридцатку и застиранный до цвета июньских ночей.

Я отвечаю теперь не только за «Санкт-Петербург», но и за группу кайфовалыциков, любителей подпольных увеселений. «Санкт-Петербургом» я распоряжаюсь не полностью, но зато кайфовалыцики теперь в моих руках.

По системе конспиративных звонков узнаю время и номер телефона. Звоню. Голос женский.

— Группа № 15, — называю.

— Двадцать три — тридцать, — отвечает. — Адрес — улица X, дом Y.

Звоню кайфовалыцикам и договариваюсь возле Финляндского. Конспирация вшивая. Все конспиративные кайфовальщики договариваются там же, поскольку на Охту ехать от Финляндского вокзала в самый раз.

Из цветасто-волосистой толпы, пугающей своим видом спешащих к субботним электричкам трудящихся, ко мне пробиваются кайфовалыцики из группы № 15 и сдают по трехе... Погружаемся толпой в удивленные трамваи и, громыхая, укатываем на улицу X, дом Y.

На Охте находим дом — школа нового, индустриально-блочного типа.

А ночь светлее юности...

Арсентьев и подруга его белокурая, словно клуха и петух, а яркий галстук Арсентьева только подчеркивает сходство.

В зале — битком. Несколько киношных софитов стоят возле сцены, а на сцене мрачноватые поляки из группы обеспечения «Скальдов» раскручивают провода.

Сдаю трешницы кайфовальщиков Арсентьеву в фонд Клуба. Разглядываю мрачноватых поляков и ту аппаратуру, которую они подключают. Аппаратура что надо — «Динаккорд» и клавиши «Хаммонд-орган». Появляются братья Зелинские с сотоварищами. Такие веселые. Они опять в России на гастролях. И полтыщи кайфовальщиков в зале становятся все веселее. А в спецкомнате поляков веселили на трешницы кайфовальщиков.

«Скальды» выходят на сцену играть на «Динаккорде», а зал орет им, а старший Зелинский пилит на «Хаммонд-органе», а младший — на трубе или скрипке. И сотоварищи пилят на басу и барабанах. А когда «Скальды» на прощание играют «Бледнее тени бледного» из «Прокол Харум», в зале начинается чума. Или холера. Какая-то эпидемия с летальным исходом в перспективе.

— Ну, полный отлет! — кричит Летящий Сустав, а рыжие Лемеховы ухмыляются нервно.

Эпидемия продолжается и когда «Скальды» уходят со сцены в ту комнату, где их поджидает Арсентьев и Белокурая с парочкой приближенных добровольцев-официантов из рок-н-роллыщиков.

Мрачноватые поляки сворачивают «Динаккорд» и «Хаммонд». Мы только хмыкнули. Не дадут, значит, нанести увечье знаменитым фирмам.

Пока кайфовальщики чумуют в зале и на ночной лужайке возле школы, «Аргонавты» вытаскивают свои самопальные матрацно-полосатые колонки, и я думаю, что и это, пожалуй, сгодится для бандитско-музыкального налета.

Играют «Аргонавты» — нормально играют и нормально поют, и лучше всего поют на три голоса из «Бич Бойз», но это так — вчерашний день. А сегодняшний день — это мы, «Санкт — — черт возьми! — Петербург», думаю я, чувствуя, как привычный озноб

пробегают по телу, и это значит — выступление получится.

И оно получается. Рвем «Аргонавтам» все провода. В зале — то же самое. Только в квадрате. Или в кубе.

Далее Зелинский на четвереньках выбирается на сцену! и «джемует» по клавишам, а перед ним пляшут ленинградские мулаты Лолик и Толик до тех пор, пока Зелинский не падает в оркестровую яму. Веселая жизнь! Кайф!...

Хранится у меня пара затертых фотографий той ночи июня 1971 года. Косматый молодой человек в белых одеждах бежит по сцене с гитарой. Лица не видно почти. Тут же Серега, Володя, Мишка — дорогие моей памяти товарищи, объединенные порывом настоящего драйва, музыкального движения, гонки. И по мгновению, вырванному фотографом, можно восстановить вкус времени, как по глотку воды — вкус реки; а вкус тех лет — терпкий, с горчинкой противостояния, через которое входящее поколение больших городов пыталось, путаясь в чащобах, осознать себя. Да и не все вышли из чащи к ясным горизонтам, но ведь начинались те самые семидесятые, о которых теперь сказано миром скорбно и зло. И не хочу я героизировать или романтизировать наше стихийное противостояние тому, о чем теперь сказано миром скорбно и зло, но лишь предположить, что молодости, может быть, дан дар предчувствия больший, чем опыту... Да, опыта у нас не было совсем.

Параллельно с концертами Арсентьева еще происходили не централизованные новой властью выступления, и тут стоит вспомнить двухдневный шабаш в Тярлево, в большом деревянном клубе, на сцене которого «Санкт-Петербург» набрал-таки еще очков сомнительной популярности в компании с другими популярными тогда рок-группами — не стану врать и называть их, поскольку не помню точно. Но

точно помню — Коля Васин лез целоваться от восторга, а после рок-н-рольщики и кайфовалыцики победно шли к станции, но по дороге рок-н-рольщичиков и кайфовалыщичиков, возглавляемых Колей Васиным, атаковали тярлевские дебилы и гоняли по картофельным полям, удовлетворяясь, правда, лишь внешним унижением пришельцев.

Весной и летом 1971 года прошло несколько ночных концертов, организованных Арсентьевым.

Лично я передал ему значительную сумму из трешниц кайфовалыщичиков и как-то, прикидывая перспективы, неожиданно пришел к простой и страшной мысли: «Ведь это же просто афера! Нас же просто подсекли, как рыбину на блесну, на блестящий значок с веточкой! Мы раньше работали и получали от профкомов несчастные восьмидесятирублевки, и покупали, пропади они пропадом, усилителя и динамики. Но теперь-то все в руках Арсентьева, а что-то не слышно о признании, о Клубной собственности, мы лишь глубже и глубже опускаемся в подполье, уже чувствуется его сырость и шорох мышей, и далекий пока оскал крыс!»

Молодость болтлива, а я был молод, резок и, придя к страшному выводу, стал болтать на всех рок-н-рольных углах. И не только я — еще несколько смельчаков допетрило до аналогичных выводов. После речей наших только что не крестились, и, наговорившись вдосталь, я успокоился, тайно надеясь на ошибку. Но волна, так сказать, пошла, и, кажется, где-то в августе «Санкт-Петербург» вызвали на своеобразный рок-н-рольный «ковер», а точнее, в пивной зал «Медведь», что напротив кинотеатра «Ленинград» в полуподвальчике.

Мы с Мишкой притащились туда; оказалось, полуподвальчик ангажирован Арсентьевым, и в этом

пивном «Медведе» нас, то есть «Санкт-Петербург», должны судить.

За несколькими столами над кружками и сушеными рыбными хвостами сидели волосатики, но не музыканты, а в основном, скажем так, музыкальная общественность.

— Они предали нашу *идею*, — сказал один нервный.

— Они никогда не были преданы нашей *идее* —, одна невзрачная.

— Они пытались провалить наш Клуб, его *идею* и идею его порядка, — сказал один с выдвигающейся вперед, словно ящик из письменного стола, челюстью.

— Чего это они? — удивился Мишка. — Эй, мужики! Пивка плесните!

— Они мало сказать недостойны, — сказал другой нервный.

— Если чего они и достойны... — сказала другая невзрачная.

— Если и достойны, то осуждения и... — сказал другой, вперяя в нас вытаращенные глаза, эти два протухший желтка.

Поднялся Арсентьев, быстрым зябким движением переломил пальцы, остановил говоривших движением руки. Он был в костюме и галстукe, хотя на улице стояла жара. На лацкане подмигивал значок с веточкой.

— Дошли слухи, — сказал он и мягко улыбнулся, — но я как-то не верю.

— Конечно! — Это Коля Васин не выдержал. — Вы что! же! — крикнул он нам. — Ведь не правда, что вы не достойны!

— А в чем дело? — спросил я.

— В том, — быстро ответил Арсентьев, — что разговоры, исходящие от «Санкт-Петербурга» и ему подобных, — это кинжальный удар в спину Клуба, нашей организации. И именно в тот момент, когда решается его судьба, когда сделано так много.

Возможна и критика, но предательство есть предательство. А с предателями...

— Да скажи, что не так! — Васин чуть не плакал. Все лица пивного «Медведя» обратились к нам.

Я начинал злиться, а Мишка пихал острым локтевым суставом меня в бок, приговаривая:

— Ну скажи. Дай им, дай.

Я сказал, я дал им: повторил все, о чем болтали на рок-н-рольных углах.

— Ясно. — У Арсентьева еще больше побледнело лицо. — Ясно, ясно. — Он помолчал, еще больше переломил пальцы и продолжил: — Предлагаю группу «Санкт-Петербург» исключить из Клуба.

Все в пивном «Медведе» замерли.

— И не просто исключить, — голос Арсентьева стал крепче, а по щекам поднялось зарево румянца, — а исключить и добиться его полного бойкота! Его полной изоляции! — голос накалялся и переходил в крик: — Мы не позволим! Никогда мы не позволим предателям разрушить здание долгожданного...

Он кричал, и крик его завораживал, и я уже жалел, что связался с обладателем такого значка и такого крика.

Я был убит. Но вдруг Мишка, разрушая истерическую пивную тишину, засмеялся:

— Да ну их к хренам, юродивых. Кто они и кто мы, вспомни! Валим-ка из этого вонючего подземелья!

Через день мы с Мишкой укатили на Ярославщину валять дурака, и валяли дурака там до осени, а осенью ходили, как кайфовальчики, на трехрублевые «сейшены» Арсентьева, а после узнали, что Арсентьев арестован.

Каждый из нас получил по повестке на улицу Каляева. Там, в следственном отделе, мы сидели в долгом коридоре, поджидая свою очередь, и лично я был не рад, что оказался прав, я с тоской вспоминал

ночные концерты, понимая, что не смогу теперь верить всякому, кто придет с предложением о легальности, понимая, впрочем, что таких предложений в ближайшее время не последует.

Выяснилось: Арсентьев носил значок не по праву, и в смысле значка он, собственно говоря, не являлся никем. Усталый человек из следственного отдела механически задавал вопросы: был ли там-то и там-то? сдавал ли трешницы и сколько? И про речной трамвайчик, и про «Скальдов». Прочтите, распишитесь, свободны. Мы свободно выходили из следственного отдела и тут же устраивали на бульварчике имени Каляева недолгие толковища, а после расходились по своим рок-н-рольным берлогам, не верящие ни во что. И получалось, что в пивном «Медведе» вечевали в основном одни, а на Каляева таскали других — артистов, творцов, так сказать, бедных.

Коля Васин рассказывал, что, узнав об аресте Арсентьева, он в ужасе убежал в лесок, что рос невдалеке от его дома» на Ржевке, убежал со знаменитым подарком Джона Леннона и зарыл пластинку в лесу до более счастливых времен.



Судили Арсентьева весело. Это походило на «сейшен» — в пыльный зальчик понабилося полгорода волосатиков. Если бы Фемида не была слепа по природе своей, глаза бы ее на это не смотрели.

Свидетели толпились в коридоре, хватало свидетелей. Подошла и моя очередь. Женщина-судья с высокой прическою разрешила женщине-прокурору с коротко подстриженными, филированными волосами, задать новому свидетелю вопрос.

— Вы участвовали в деятельности так называемого Рок-клуба? — Женщина-прокурор старалась смотреть проницательно.

— Да, я принимал непосредственное участие в деятельности так называемого Рок-клуба.

Женщина-прокурор посмотрела на судью. Судья молчала. Более вопросов не последовало, и мне разрешили остаться в зале. В тесном вольерчике на скамейке сидел Арсентьев. Ему, похоже, было скучно, он смотрел в зал и лишь иногда шевелил губами, повторяя, видимо, про себя покаянное слово.

Постепенно все свидетели перекочевали из коридора в зал, и никому судья не задал вопросов. Мы

были, я понял, свидетелями обвинения.

Белокурая девка Арсентьева сидела в первом ряду и живо реагировала на действия участников суда.

Адвокат поймал прокурора на нарушении презумпции невиновности Арсентьева, а по поводу Клуба и денег доказательств не оказалось: не было, одним словом, состава преступления. Суду прокурор смог предъявить лишь два подделанных Арсентьевым бюллетеня, и за это Арсентьев после покаянного слова получил год исправительных работ на стройках страны, а Белокурая, проходившая также по делу о бюллетенях, получила год условно.

Билеты на «сейшены» не продавали, а то, что я и такие, как я, собирали трешницы и сдавали их в липовый Клуб, так то — частные пожертвования, которые не запрещены, и разошлись эти «пожертвования» на организацию «сейшенов» и на угощение славянских гостей.

Мы после прикидывали, сколько могло уйти на орграсходы — большая часть пожертвованных трешниц должна была остаться. Получалось, славянские гости продули почти годовой доход всех ленинградских рок-групп. Я славянских гостей, конечно, трезвыми не видел, но все-таки трудно поверить в подобную раблезиаду.

Болтунов, я уже говорил, хватало, и задним числом выяснилась странная удачливость концертных афер. Основной прием Арсентьева: он звонил в какой-либо из райкомов комсомола, рекомендовался работником Ленфильма и просил о действия в предоставлении зала для съемок картины о современной молодежи. Даже давал на случай телефон. Где-нибудь на Петроградской стороне в частной квартире с телефоном с похожим на ленфильмовский номером сидел человек и ждал звонка. Но никто ни разу не проверил. Райком подыскивал школу, платилась аренда, привозились киношные

софиты, которые имитировали съемку, и «сейшен» удавался на славу.

Не знаю, уж на что рассчитывал Арсентьев — такое бесконечно продолжаться не могло, ведь в деле оказались задействованы сотни, если не тысячи людей.

Дурной пример, впрочем, заразителен, и то, что Арсентьев проводил под прикрытием значка и конспирации, ареентьевисты (Петрарка — петраркисты) стали делать чуть ли я среди бела дня. Правда, в этом пока не было злого коммерческого умысла, лишь голый энтузиазм. Ленинградский рок увидевший новый путь, уводящий от вузовских танцулек, пошел с властью, как говорят футболисты, в кость, не надеясь более на легальность и не желая ее.

Вот один из типичных менеджеров постарсентьевской поры: Вова Пенос, низенький, остроносенький, шепелявенький зануда и добрый малый. То ли поляк, то ли польской происхождения. Знаток польского языка и польских нравов В чем лично я сумел вполне убедиться. На его доброй совести два мероприятия.

Как— то утром звонок:

— Пливет. Польская лок-глуппа «Тлубадулы» сегодня плиедет в «Муху» с аппаратом. Они очень хотят познакомиться с «Санкт-Петелбулгом». Холошо?

Хорошо-то хорошо. Но в «Мухе» уже кто-то пустил слух, и «Муха» не училась с утра, а полным составом во главе с ректором, деканами и их семействами, которым уступили первые престижные ряды, сидела в актовом зале, ожидая исторической встречи «Трубадууров» и «Санкт-Петербурга».

Вова Пенос владел, как показали события, польским языком в пределах... не более, чем в пределах своей фантазии и за час до исторической встречи выяснилось, что никакой аппаратуры знаменитые тогда поляки не привезут, и мы с Летаящим Суставом рванули на

Моховую улицу, где тогда опять делили со студентом ЛГИТМИКа Боярским репетиционный зальчик. Мишка сгоряча сковырнул замок и с кладовки Боярского, откуда мы позаимствовали в предчувствии международного скандала усилитель и провода.

Все равно аппаратуры не хватило. «Трубадуры» шли на вечеринку в узком кругу с российскими музыкантами, а оказались перед страждущим эстетических удовольствий залом и сгоряча исполнили полусоставом (пришли «Трубадуры» не в комплекте) бессмысленный блюз на рояле под барабаны и бас. Декан и ректоры с семьями также ждали эстетических удовольствий, и хотя блюз прозвучал вполне сносно, но ради единственного блюза не стоило срывать учебный процесс. Пришлось и с Боярским после разбираться — пропал один из его проводов.

На совести Вовы Пеноса и особо выдающаяся встреча с Марылей Родович и приехавшей с ней на гастроли группой «Тест». Этот добрый малый арендовал на ночь плавучий разухабистый ресторан «Корюшка». Но «Санкт-Петербург», Марылю и «Тест» по ресторанным правилам следовало закусывать. Сто ресторанных посадочных мест по семь рублей. Деньги собрали, передали в «Корюшку» и там на семьсот рублей обещали нарубить салатов и наквасить капусты.

Гости начали съезжаться к одиннадцати и приехало нечесаных любителей изящных искусств под салат и капусту человек пятьсот, которые, отодвинув столы, повалились на пол. Полякам обустроили кабинет, «Санкт-Петербург» грохнул ритм-энд-блюзовой увертюрой, и веселье завертелось. Марыля Родович, звезда все-таки европейского класса, посматривала на валявшихся рок-н-роллыциков и кайфовальщиков с неподдельным интересом, не предполагая, должно быть, увидеть подобное на чопорных невских берегах. «Тесту» тоже захотелось покрасоваться перед

любителями изящных рок-н-рольных искусств, и они после увертюры «Петербурга» вдарили по джаз-року. Выдающаяся встреча проходила на втором этаже «Корюшки», и сцена находилась возле лестницы. В начале первого, когда «Тест» уже вовсю шуровал в упругих дебрях джаз-рока, а любители изящного, словно древнеримский легион опившихся наемников, кровожадно кричали в наиболее упругих тактах хромого пятичетвертного размера, в начале первого по лестнице поднялось с десятков крепеньких ребят, довольно одинаково одетых, только один зачем-то нахлобучил мотоциклетный шлем, предложивших посредством мегафона, чтобы «Тест», Марыля, «Петербург» и валявшиеся на полу легионеры, чтобы быстро-быстренько, десять минут на все дела, иначе...

Иначе говоря, «Корюшка» трудилась по закону до курантов. и в «Корюшке», видимо, оценили внешность и шепелявость Вовы Пеноса, а оценив, решили, что почему бы не взять те семьсот рублей, которые он с таким рвением навязывал.

Гости приехали к одиннадцати, в двенадцать «Корюшка» закрывалась, и ее умные работники вызвали наряд, дабы укротить разошедшихся клиентов.

— Ресторан закончил работу. Па-прашу!

У барабанщика «Теста», что никак не мог съехать с хромого пятичетвертного размера, конфисковали барабанные палочки.

Поляки ничего не поняли, поняли только, что надо быстро-быстренько, и ушли.

Куда только не заносило «Санкт-Петербург» с осени семьдесят первого по весну семьдесят второго. Неведомым вывихом судьбы мы оказались в клубе Сталепрокатного завода, куда нас сосватал толстозадый черноокий негодяй Маркович — еще один из постарсентьевской плеяды. В предновогоднее утро

пришлось «Санкт-Петербургу» выступать ранехонько в жилищно-эксплуатационной конторе. Клуб Сталопрокатного завода осуществлял, кажется, шефство над жилконторой, и мы там музицировали при гробовом молчании! и под ненавидящими взглядами двух десятков окрестных! дворников и неспавшихся сантехников.

Из клуба Сталепрокатного завода «Санкт-Петербург» довольно быстро выперли, а Маркович стырил у нас остродефинитный динамик 2-А-11 и чуть не стырил пару еще более дефицитных динамиков 2-А-32. Пришлось ловить черноокого и угрожать убийством.

Нищенствуя и мыкаясь по случайным зальчикам и концертам, мы сдружились с такими же горемыками из рок-группы «Славяне» Юрой Беловым, Сашей Тараненко, Женей Останиным и Колей Корзининым. Сплотило же нас в группу музыкальных злоумышленников совместное концертное выступление на вечере в Университете, с которого пришлось убежать в пожарном порядке. «Славяне» были ребята славные и веселые, а с такими горемычничать в самый раз.

Наступали новые времена. Короток все же был до поры век кайфовалыцика и рок-н-роллыцика — с первого по пятый курс. Диплом для большинства становился перевалом, преодолеть который представлялось возможным, лишь отбросив, все лишнее, и среди лишнего оказывался рок. За перевалом начиналась цветущая долина зрелости, отцовства (или материнства) и подготовка к штурму иных, более сложных служебных вершин.

Наступали новые времена. Рок уже размывал вузовские дамбы, уже появились отчаянные, лепившие из рока жизнь, делавшие его формой жизни, роком-судьбой, шедшие на заведомое люмпенство, ставившие на случайную карту жизни, не зная еще, какая масть

kozyряет в этой игре. Кое-кто уже докайфовался до алкоголизма, появились свои дурики, шизики, крезушники с тараканами в извилинах. Многие, правда, играли в дуриков и шизиков — ух, это веселая игра! Кое-кто уже поигрывал с транквилизаторами, торчал на анаше. Нет-нет да и звякал среди кайфовалыдиков шприц. Нет-нет да и пропадали в аптеках таблетки от кашля. Но это все было так — легкие тучки на горизонте...

С одной стороны рыжих Лемеховых караулил диплом, с другой стороны — портвейн. И уже маячила перед Серегой фантастическая женитьба на молодухе-изменнице, а мое диктаторство, сглаженное нечаянной славой, дремало до поры.

В разумных пределах трудности сплачивают сообщества, а в неразумных разрушают.

Как-то Лемеховы взбрыкнули, и я послал их. Они были славные парни, мягкие, очень талантливые и гордые той гордостью, которой может обладать лишь тонкий, глубоко чувствующий, ранимый человек. Такая мягкость вдруг оборачивается гранитным упорством. Лемеховы не покаялись, и «Санкт-Петербург» потерял полсостава, основу «драйва», единоутробную ритмическую группу.

Но и «Славяне» не уцелели, проходя через тернии. Саша Тараненко, главный электронщик «Славян», хотел еще и творческой свободы, тайно лелея амбиции. Он уговорил славных и гордых Лемеховых работать с ним, а я, плюс Мишка, плюс Белов, Останин и Корзинин стали притираться друг к другу, пробовать, репетировать, думали, как сложить новую программу, чтобы новый «Петербург» не уступал прежнему. Я еще надеялся на диктаторство и в итоге был провозглашен Первым консулом, что справедливо, поскольку собрались-то под вывеской «Санкт-Петербурга», моего детища, но Юра

Белов был пианистом почти профессиональным, а Николай Корзинин был барабанщиком если и не явно ярче Лемехова, то уж профессиональней во сто крат, с опытом игры на трубе и хоровой практикой в пионерские времена. Белов и Корзинин сами сочиняли музыку, и хорошо сочиняли, просто им не хватало сумасшедшей ярости, присущей «Петербургу», и концертной удачи.

Очередные авантюристы устраивали очередные авантюры. Теперь без всяких профкомов платили до сотни за отделение, а иногда и вообще не платили, если авантюру прикрывали власти, а иногда не платили авантюристы просто по своей авантюристической прихоти.

Новым составом мы выступили на правом берегу Невы в неведомом мне зале с балконом, с которого свалился во время концерта в партер кайфовальтдик.

Кайфовальтдик не пострадал, а мы убедились, что «Санкт-Петербург» приняли и в новом составе, и очень приняли! простенькую лирическую композицию «Я видел это». Она даже стала на время гимном гонимых рок-н-роллыциков, и Коля Васин всякий раз поднимался в партере со слезами текущими по заросшей щетиной щеке, и подпевал вместе с залом:

— Я видел э-это! Я видел э-это!

Если трезвой литературоведческой мыслью попытаться оценить исполняемые «Петербургом» строки, то получится ерунда, наивность и глупость инфанта (а именно так и оценивают почти всегда тексты рок-групп).

— Я, — там пелось, — видел, как восходит солнце... Я видел, как заходит солнце... — и еще: — Как засыпает все вокруг... — и еще пару слов насчет молчания, а последняя строчка: — Как заколдован этот круг, — и припев: — Я видел э-это!

И вот я думаю сейчас и не могу додуматься. Наверное, здесь оказалась закодированная трагедия юности, почувствовавшей, как время вколачивает ее в структуру жизни, в ее жестокую пирамиду. Наверное, семиотический смысл этих слов обнимал главное, иначе ведь успех не приходит.

На моей совести много хорошего, а много и нехорошего. И одно из нехорошего — это выступление в школе № 531 на проспекте Metallistov. Школа как школа, но ведь я там учился и был юношей уважаемым, спортивной знаменитостью и председателем Ученического научного общества. На счету нашего общества не значилось ровным счетом ничего, но обрым учителям я должен был запомниться юношей опрятным и доброжелательным.

Бывший мой соученик, издали причастный к року, парень сметливый и жадный, знавший о разгуле подпольной музкоммерции, подъехал к директору школы, полноватой пожилой женщине, наврал ей, что смог, воспользовавшись ее добрыми чувствами, и договорился в выходной день использовать актовЫй зал. Мы провели в школе № 531 рок-н-рольный утренник, получилось нечто вроде «Утренней почты». В ранний час кайфовалыцики вели себя смирно, и мы смирно поиграли им ватт на двести. Несколько композиций Юра Белов исполнил без моего участия, а в некоторых композициях «Санкт Петербурга» не участвовал Мишка. Он печально околачивался на сцене с бубном, понимая, кажется, что жестокий закон эволюции перевел его или почти перевел в должность бубниста.

С кайфовалыциков мой соученик собрал по два рубля и потирал, думаю, от жадности руки. А может, и ноги.

Все было нормально.

Но вот посередине среднесумасшедшего по накалу ритм-блюза я заметил, что дверь в актовом зале отворилась, и в дверях остановилась пожилая полноватая седая женщина. Это была директор. Она жила неподалеку от школы и решила заглянуть и побеседовать с бывшими учениками.

Повторю, в зале было все нормально. Но нормально для меня, и я был нормален для себя, но не для нашего бедного директора. Она постояла с минуту в дверях, дождалась окончания среднесумасшедшего ритм-блюза, сделала шаг назад и аккуратно прикрыла дверь.

До сих пор мне стыдно. Я бунтовал — и это мое дело, но не стоило приходить с этим в родные пенаты и ломать иллюзию, которую питает каждый учитель к своим ученикам.

Где-то в начале 1972 года у меня вдруг зажило колено. Я еще не сомневался в олимпийских победах, ревностно следя за прессой и за тем, как прогрессируют бывшие сверстники и конкуренты. Я лечил колено всеми известными способами, но оно не проходило почти два года, иногда в самые неожиданные минуты выскакивали мениски, которые я научился забивать обратно кулаком. Иначе нога не сгибалась. Случалось, мениски выскакивали и на сцене, приходилось забивать их обратно между припевами и куплетами. Скакать по сцене все-таки мог, а вот тренироваться — нет.

Я плюнул и перестал лечиться, и колено вдруг зажило.

Я явился на стадион, на меня посмотрели горестно, а тренер, великий человек, сказал:

— Давай попробуем.

Меня называли хиппи, а я им не был и вовсе не отказывался от спортивного поприща, и говорил, будто спорт — это тоже рок-н-ролл.

«Санкт-Петербург» же не выходил из штопора славы, но мешал дух недоговоренности. Мишка маялся с бубном, а Юра Белов тащил все новые и новые песенки. К тому же распалась довольно занятая группа «Шестое чувство» и вокруг «Петербурга» слонялись безработные бас-гитарист Витя Ковалев и барабанщик Никита Лызлов, не претендовавший в тот момент именно на барабаны, поскольку Николаю Корзинину он был не ровня, а претендовавший просто на искрометное дело, которому он мог предложить свою предприимчивость, ум, веселый нрав и некоторую толику аппаратуры «Шестого чувства», совладельцем какой и являлся вместе с Витей Ковалевым.

Что— то предстояло сделать.

В апреле семьдесят второго я уехал в Сухуми на спортивные сборы, а вернувшись в Ленинград, заболел инфекционным гепатитом — желтухой и чуть не сдох в Боткинских «бараках» от ее сложной асцитной формы. То есть началась водянка. Кто-то из врачей все же догадался назначить мне специальные таблетки, после которых я выписал за сутки ведро и побелел обратно.

В первые дни, мучаясь от боли, я читал бодрые записочки, присылаемые друзьями-товарищами по року. Валера Черкасов (о нем впереди), помню, прислал открытку с текстом приблизительно такого содержания: «Говорят, ты совсем желтый. И говорят, ты вот-вот сдохнешь. Нет, ты, пожалуйста, не сдыхай. Ты ведь, желтый-желтый, обещал поменять мне мой „Джефферсон аэрлайн“ на твой „Сатаник“. Так что давай сперва поменяемся, а после подохнешь. С японским приветом. Жора!»

Опять наступило лето, и началось оно яро — дикой жарой, безветрием, лесными пожарами. В СССР приехал Никсон, а клубника поспела аж к началу июня. Назревала разрядка. Женя Останин приносил в больницу книги по технике рисования, в котором я

упражнялся, лежа под капельницей, а когда я, прописавшийся и побелевший обратно, смог выходить на улицу, то выходил, и мы с Женей гуляли по территории больницы, подглядывая в полуподвальчик прозекторской, где прозекторы потрошили недавних гепатитчиков. За деревянным забором, отделенные от аристократов-гепатитчиков, весело жили в деревянных домиках дизентерийщики... Аристократы относились к ним с презрением и называли нехорошим словом.

Женя Останин учился на художника, и говорили мы с ним: о сюрреализме.

Ботва на моей яйцевидной башке достигла рекордной длины, главврач стал требовать невозможного, а Коля Корзинин с Витей Ковалевым пришли заключать соглашение... Билирубин и трансаминаза еще шалили над нормой, а Никсон уже подписал исторические документы. Мы-то не подписывали ничего, но устно решили: отныне «Санкт, его величество, Петербург» есть: Коля Корзинин — барабаны, Витя Ковалев — бас, Никита Лызлов — просто хороший человек и чуток рояля, и плюс мой билирубин и трансаминаза. Остальное же побоку. Дело есть дело. Дело-то есть дело, но молодость все же еще и жестока.

Родители, испуганные сыновьей водянкой, взяли меня опять, белого и похудевшего, из больницы на поруки, и стали кормить диетическими кашами, от которых я бежал в компании с Колей Зарубиным, будущим барабанщиком группы Валеры Черкасова «За». Но это он позже стал За что-то, а тогда мы просто прихватили бонги, дудочку, немного денег и уехали в Ригу, где из себя изображали неизвестно кого с этими бонгами и дудочкой, а из Риги решили махнуть в Таллинн автостопом, модным, по слухам, хитч-хайком-сжал кулак, большой палец вверх, и тебя якобы везут добрые водилы, которым скучно в дороге.

Послушав случайную девчонку, последней электричкой доезжаем зачем-то до Саулкрасты, курортного поселка, конечной станции, и попадаем под дождик. Ругая девчонку, бредем в мокрой ночи, по мокрому саду, и в саду том натываемся на дощатую эстраду с крышей, и ложимся спать, мокрые, на доски под крышу, где вдруг сладко засыпаем, а когда просыпаемся, то видим вокруг утро накануне первого солнца, в котором поют птицы, в котором сухо опять, в котором хочется дышать и жить. А в сотне метрах оказывается море. И на диком пляже в лучах свершившегося солнца Коля Зарубин легонько пробегает пальцами по бонгам, кожа на бонгах откликается приятным невесомым звуком, а я, ка дурак, свищу на дудочке то, что не умею, и так хорошо, как никогда. И думаем мы, что так все и надо.

Тогда летом рок-н-роллыцики обычно отдыхали, словно хоккеисты перед сезоном, но лето кончилось. Похудевший от инфекционного вируса до комплекции стандартного кайфовальщика, я довольно быстро наел спортивные килограммы и более на дудочке не свирещал.

Еще недавно впереди ожидала вся жизнь. Теперь за спиной уже дымилась первые руины.

К семьдесят второму году ленинградские рок-н-роллыцики и кайфовальцики освоили хард-роковые вершины «Лед Цеппелин» и «Дип Перпл». Тогда эти снеговые-штормовые покорялись упрямыми и немногими, ждавшим от рока уж вовсе неистового кайфа — это теперь там проложены комфортабельные шоссейки, по которым на туравтобусах «Земляне» катают чубатых пэтэушников.

Партизанский имидж «Санкт-Петербурга» времен Лемеховых с их полуимпровизационным сатанинским началом и ритм-блюзовым плюс хард-роковым

«драйвом», со светлыми проблесками слюнявой лирики, уступил место жесткой конструкции продуманных аранжировок и коллективному договору сценической дисциплины. Если Лемеховы были мягки, даже застенчивы, что и подталкивало их порой к стакану, то Коля Корзинин оказался равно талантлив, как и непредсказуем. Что меня поразило — однажды, еще в «Славянах», на одном из «сейшенов» Арсентьева он в паузе между композициями заявил в микрофон из-за барабанов:

— Сейчас я спою для друзей и для жены. Остальные могут валить из зала.

Его, в общем-то, освистали, но он только озлился и только небрежнее, алогичнее, с запаздыванием, заканчивал брейками такты. Так он и выработал манеру — неповторимую, узнаваемую и очень экономную. Внутренне, мне теперь кажется, Коля всегда не доверял залу, был даже враждебен ему, и если все-таки достиг популярности, то лишь потому, что толпе кайфовальщиков ничего не оставалось, как полюбить человека, плевавшего на них: плевать на зал — это высший кайф. Элис Купер тоже плевал, но уже в прямом смысле — блевал и даже бросал в зал живого удава.

Осенью семьдесят второго года «Санкт-Петербург» много выступал, поставив целью улучшить звучание до полупрофессионального. Когда-то мы с Летящим Суставом купили у промышленных несунув восемь качественных динамиков 4-A-32 по тридцать пять рублей за штуку и тем создали некое промышленное накопление. На лучше бы и не начинать. Тут только начни. Можно всю жизнь улучшать и улучшать, и все одно, не улучшить до абсолютной лучшести, так и не поняв в ошибочном начале, что музыка, если есть, она в тебе. И хороша она или нет, зависит от того, хорош или плох ты. И что ты сам абсолют, и шкала отсчета в тебе,

а посредники диффузоров, ламп и прочих ухищрений — это Сцилла и Харибда, и между ними доулучшала звучание до бездарности не одна сотня талантов.

Сейчас, в середине 80-х, гитара электрическая, соответствующая уровню, на которой не стыдно и не «в лом» концерттировать отечественному евроклассу рок-артисту (а такие есть), стоит у перекупщиков где-то под три тысячи рубликов. К такой гитаре положено иметь «флэйнджер», «бустер» «квакер» и еще сколько-то «примочек», придающих звуку характер. Итого: плюс еще несколько сотен. Если рок-артисту вздумается петь, и в песне он также желает соответствовать евроклассу, то он должен истратить сотен пять или семь на евромикрофон типа «Маршалл». Но еврогитара и евромикрофон через что-то усиливаются, и это что-то — «Динаккорд» или «Пи вэй», и это что-то стоит еще тысячи и тысячи. Да клавиши, да компьютер-драм, да то, да се. Отечественная группа евроклассу стоит как небольшой эсминец. Звук у нее как у небольшого истребителя. Собирает она на свои идиотические маевки по несколько тысяч юных лоботрясов (умножим хотя бы на три, и получим «кассу» концерта), но ставка рок-артиста евроклассу за концерт рублей пятнадцать, а бывает и меньше. При выступлении на стадионе она удваивается, но все одно, надо концерттировать две жизни, чтобы накопить эти тысячи. Есть, однако, нынче выход. Если ты действительно рок-артист евроклассу, или в тебе такого увидели, то тебя пригласят, тебя обласкают, тебя арендуют. Есть теперь «рок-папы». «Папа» — это тот, кто выкатывает рок-группе аппарат, и часто «рок-папы» фигурируют на афише художественными руководителями. За те пятьдесят или сто тысяч это не так уж и много. В Ленинграде «рок-пап» практически нет, поскольку Ленинград — город не очень богатых людей и здесь такую сумму не так просто

украсть. Есть, правда, один — дает интервью как руководитель популярного в пригородах рок-ансамбля. Сей художественник сколотил капиталец, спекулируя инструментами и аппаратурой, а иногда и просто обманывая доверчивых артистов. Бас-гитарист «Червоных гитар» рассказывал мне, что наш художественник «кинул» барабанщика из рок-группы Чеслава Немена на полторы тысячи рублей, и что он, поляк, хочет продать художественнику за это самопальный «Стратакастер»-бас с нестроющим грифом. В семидесятые к нам часто ездили гастролировать сильные польские группы, и сей художественник хорошо на них «приподнялся».

Дипломатическо-дирижерские семьи также поставляют на рок-н-рольный небосвод «рок-пап», но это уже московские дела.

То есть столь пространной жалобой я хочу сказать, что: в начале семидесятых еще не было ни «пап», ни «дядьев», была какое-то время у «Петербурга» «рок-мама» — взрослая небогатая женщина. Одним словом, соединив имевшееся у «Петербурга» до инфекционного гепатита с тем, что прибыло после, мы получили полный комплект некачественной, хотя и громкой по тем временам, аппаратуры. В лице Вити Ковалева «Петербург» получил сильное подкрепление. Это теперь проф-рок-артистов обхаживают инженеры звука, инженеры света, разные мастерские и спекулянты. Тогда приходилось все делать самим, и представьте себе, что мог напаять гуманитарный состав «Петербурга» времен Лемеховых. Ви-1тя Ковалев, мастеровой, рабочий телеателье, привел в относительный порядок некачественный наш аппарат и, кроме того, значительно укрепил классовый состав «Петербурга». Никита Лызлов заканчивал химический факультет Университета и тоже был поближе к технике.

За гуманитарную часть нашей деятельности отвечали мы с Колей, и к осени семьдесят второго, внутренне соревнуясь, сочинили несколько новых «боевиков», которые отрепетировали и представили рок-н-рольщикам и кайфовальщикам.

Однажды полужнакомец подбросил листки со стихами, попросив прославить, и листки эти вдруг попались на глаза. Часть стихов, как выяснилось позднее, оказалась украденной у Аполлинера, а на один неожиданно сочинилось. Текст, правда, пришлось править и переписывать, остались от него рожки до ножки, но на одной строке я тем не менее прокололся. Назвал композицию «Лень» и начинал ее четырехтактовым заковыристым «рифом», повторявшимся два раза с напором, а после возникал минор, точнее, до-минор, и начинались минорные слова:

Издалека приходит день,
приходит день, сменяя утро...

Объявив время и место действия, во второй, уже нахра-листой части композиции, я утверждал, что:

И так всю жизнь, так каждый день
все изменить мешает лень!

Третья часть композиции в мягко рокочущем квадрате до-мажора объявляла:

Я этим городом дышу -

и далее строчка, всегда вызывавшая овации кайфовальщи-ков и довольные усмешки рок-н-

роллыциков и мое недоумение по поводу ее странного успеха:

...Курю с травой папиросы.

Строчка эта — одна из немногих, уцелевших из первоисточника полужнакомца. Я же тогда не курил вовсе, редко когда мог позволить себе пригубить с Лемеховыми, сохраняя надежду на олимпийскую славу. Я знал, конечно, что анаша называется «травой», и знал, что кое-кто из рок-н-роллыциков ее курит, а кайфовальчики, кажется, курят всюду. Но это было абстрактное знание — Лемеховы в смысле кайфа оставались славянофилами, и «травка» в тексте полужнакомца связывалась у меня просто с плохими папиросами — табаком наполовину с травой.

Но получалось — я символ эскапизма, этакий прокламатор психаделии, «пыха», «улета». По поводу «кайфов» тогда позиции у меня не имелось вовсе, но иногда, особенно после того, как Лемеховы срывали концерт или репетицию своей приятнью к португальским винам, иногда я устраивал Лемеховым скандал и выгонял их вместе с собутыльниками. Но «травка»? Сообразив, я заменил «с травой» на «с тобою». Это вызвало интересную реакцию: начинался рокочущий до-мажор, пелся текст, но все равно зал взрывался криками, как бы понимая: да, зажимают рот артистам, не дают свободы в искусстве.

Меня никто не зажимал, но за ошибки или глупость в искусстве приходится платить.

Николай предложил для концертирования несколько а личных сочинений: «Позволь», «Хвала воде» и «Санкт-Петербург № 2».

Негуманитарный Никита разродился текстом, а Никола приложил музыку, и получился еще один номер

— «Спеши к восходу».

После долгой ночи; после долгих лет
Будет утра сладость, будет солнца спет!

Так пелось в припеве, и всем нравилось. С восходами и заходами у «Санкт-Петербурга» было все в порядке. Что восход должен принести — оставалось неясным. Теперь я знаю, что восход может принести и похмелье, а заход, наоборот, короткое счастье. Но ведь в двадцать с небольшим думалось по-другому, напрямую: солнце, свет, белое — добро ночь, темень, черное — зло. Жаль, что возраст превращая наивную веру в ее негатив.



«Санкт-Петербург» очень любили; все, что ни сочиняли и ни пели мы, нравилось до коликов восторга, а эти колики восторга необходимы забравшемуся на сцену, раскрепощая его и выявляя совершенно неожиданные дарования. Но это все гуманитарные абзацы. Итак — аппаратура.

Грубая статистика гласила: где-то каждое третье выступление срывалось, «не канал» из-за аппарата. Иногда срывалось смешно. Никита Лызлов устроил «Петербургу» еще при Лемеховых коммерческое мероприятие в Павловске. Часты билетов скупили павловские аборигены, часть разошлась среди городских кайфовалыциков. Отстраиваем аппаратуру — блеск! Своя плюс клубная — блеск да и только! В зале уже воркует публика, пора выходить, но вот выясняется, что напряжение в Тярлево к вечеру село, звук из динамиков прет с искажением и музыкальная коммерция может кончиться избиением артистов. Нужен выпрямитель, он каким-то образом что-то там выпрямит, но выпрямителя у «Санкт-Петербурга» нет. Гонец летит за выпрямителем, а я поручаю бойкому знакомцу, просочившемуся за кулисы на правах сомнительного друга, выйти на сцену и поговорить. О чем угодно. Вроде лекции о рок-музыке. Минут на двадцать. Бойкий знакомец выходит под аванс оваций и начинает гнать лапшу о «Петербурге», о том, какая это выдающаяся, великая... стараясь занять время, по ступеням восходящих эпитетов добирается и до... гениальная группа сейчас выступит в Павловском деревянном клубе. Зал уже плачет, представляя себе Павловск музыкальным эпицентром мира, а нам пора уже выходить на сцену, поскольку гонец с выпрямителем не прискакал покуда, а задерживать начало — значит больно слетгать по лестнице эпитетов...

Жизнь все-таки дороже славы. Занавес с хрустом распаивается, мы, искаженно чешем начало апробированного боевика «Ты, как видно», зал, не разобравшись, вопит, но скоро смолкает и также молчит после, грустно понимая, кажется, что не готов еще воспринимать гениального.

На стадионе отнеслись к моему гепатиту как к уловке уволосатика и сказали:

— Волк всегда смотрит в лес.

В Университете же, пропустившего по болезни сессию и представившего справку, отпустили с богом в академический отпуск.

Судьба искушала волей, а воля — это слишком высокий и отчаянный кайф. Привыкший к дефициту времени, я не решился искушать молодую свою жизнь, хотя и мог обоснованно посвятить целых двенадцать месяцев диетическому питанию, прописанному докторами. Николай хвастался все время — работаю, мол, ночами в метро тоннельным рабочим, сплю, иногда лишь чего-нибудь, если очень попросят. Звоню Николаю, спрашиваю:

— Как думаешь, Коля, метрополитен не откажется от трудовых усилий еще одной звезды рок-музыки?

Николай отвечает невразумительно, но кажется, меня там ждут с нетерпением. Следует проехать до «Балтийской», что-то обойти, открыть какие-то двери, свернуть налево, а после — направо. Еду до «Балтийской» и убеждаюсь — все не так. И обойти не то, и двери не те, и сперва направо, а уж после налево. Но главное совпадает — вакансия тоннельного рабочего второго разряда не занята, и я занимаю ее, пройдя флюорографию и терапевтический осмотр. Сообщив счастливое известие Николаю, слышу опять нечто невразумительное о том, что он, мол, увольняется, и мне это отчасти печально, но печаль поверхностна, поскольку еженощный труд дает еще один шанс прикупить микрофонно-усилительной дребедени. И это меня манит как временное призвание в этом мире борьбы за призвание постоянное.

Вот и первая ночь трудовая на участке «Маяковская» — «Гостиный двор» — «Василеостровская». Нормальная осенняя гниlostная

ночь. Несколько сумеречных теток, угреватый дядька и парочка таких же, как я, парубков — перед нами держит на планерке речь симпатичный мужчина в форменном кителе. Помалкиваю, слушаю. Жду, когда объявят отбой. То есть отправят спать в какие-нибудь специальньв спальные комнаты.

Но объявляют наоборот. Поднимаемся по эскалатору на верх, мне вручают отбойный молоток, и я всю слякотную ночь долблю асфальт перед «Гостиным», в душе оправдывая человека в форменном кителе — что ж, мы понимаем, должно быть все честно, бывают ведь авралы. Они бывают, убеждаюсь и на следующий день, бродя в катакомбах под эскалатором с холодным шлангом в руках, из которого вылетает! тяжелая брызгливая струя воды, и водой этой я вымываю из катакомб дневную грязь. «Да, аврал на аврале, — думаетесь мне все шесть месяцев, в которых не сплю, в которых мотаюсь по тоннелям с молотком и колючу неведомые дырки в тубингах для неведомой банкетки, катаю бочки — тружусь одним словом, во славу настоящего призвания, сочиняя вслу среди подземного эха: „Грязь — осенняя пора-а, что не делаешь — все зря-а. И мешает мне увлечься бесконечность-бесконечна-а!“ — а эхо только бу-бу-бу в ответ.

Во славу настоящего призвания «Санкт-Петербург» отчаянно гастролирует по бесконечным подмосткам, шаг за шагом приближаясь к звучанию полупрофессиональному и отдаляясь от непрофессионального, в том смысле, что микрофонно-усилительной дребедени накупаем мы все больше, а с мастеровой ловкостью Вити Ковалева организуем ее хаос в стоящий рок-н-рольный реквизит. Но это — бесконечное восхождение по склону без вершины.

Однажды в полдень той же слякотной осенью на проспекте Metallistov почти врывается соученик по истфаку.

— Запри дверь, — говорит, и я замечаю, как он возбужден.

— Да что запереть? Заперто.

— Нет, проверь, заперты ли двери. — Он достает и; сумки сверток, разворачивает.

Вздрагиваю и иду проверять, заперты ли двери.

Возвращаюсь и спрашиваю с дрожью в голосе:

— Что это? — Глупый вопрос, поскольку понятно, что это

— Глупый вопрос. И так понятно. Ты понимаешь, на что я пошел?

— Нет, — отвечаю я. — На что ты пошел? Только не ври.

Он не врет, а так вот разом в лоб. И еще он говорит, что всегда стремился как-то быть в искусстве, но покамест он может только так быть в искусстве, то есть он дарит это мне нашему «Петербургу», потому что наш «Петербург» — это и его «Петербург», а «Санкт-Петербург» — это в кайф.

— Я не понял. Я могу это просто так взять?

— Да. Я пошел на воровство.

— Нет... Да... То есть нет!... То есть, конечно, да!

Мой сокурсник срезал на телевидении, где подрабатывал грузчиком, микрофон. Такие я видел только в программе «Время». Микрофон сработали умельцы Австрии и ФРГ, ему цены нет. Цена-то есть — по Уголовному кодексу. Но ведь есть же и призвание. С такими друзьями, думается мне, «Санкт-Петербург» доберется и до профессионального звучания. Доберется, даже если у этого склона и нет вершин.

И вот мы карабкаемся по ней в связке и без страховки, и в связке нашей появляется свежее испеченный выпускник средней школы Никитка Зайцев. Не помню, кто привел безусого, соломенно-кудрявого, пухлогубого Никитку, но он так лихо въехал со своей скрипкой-альтом в наши с Николаем

композиции, что даже я, теперь уже строгий консерватор стиля и имиджа, не смог отказать. И теперь нас пятеро в связке над пропастью, и кайф наш еще круче — так говорят болельщики, и, дай им волю, они бы нарезали нам авоську микрофонов.

А авантюристы все устраивали авантюры во славу призвания «Санкт-Петербурга» и своих бездонных карманов.

Очень взрослый и малословный тенорок по фамилии Кар-Г пович вписывает «Санкт-Петербург» отконцертировать не сколько слякотных вечеров в Ораниенбауме, в спортивном манеже, который на несколько вечеров станет танцевально-концертной территорией. Нас даже законно оформляют на незаконные ставки, и в манеже мы законно-незаконно отыгрываем, сколько положено и как просят. А просят не очень-то того. Но без Лемеховых имидж «Санкт-Петербурга» и так уж не очень-то того. Это как в трикотаже, когда 50 % шерсти, но и 50 % синтетики. Шерсть престижнее, а синтетика практичнее.

На мне новая рубаха консервативного покроя и брюки в серую полоску. Я как бы устал от успеха, но иногда еще

могу раз-другой дрыгнуть ножкой, а Никитка — наоборот, молодой бычок, козленок, волчонок, не знаю. Но удачно смотрится. Николай за барабанами строг, зол и алогичен. Мастеровой Витя Ковалев словно в полудреме маячит возле Николая за моей спиной, Никита же за роялем более склонен к демократизму и открытому веселью. Все продумано и все в кайф.

В Ораниенбауме кайфовальщики довольны, а рок-н-рольщики смакуют каждое соло Никитки, звукоизвлечение у него действительно изумительное, и смакуют мои броски из баса в свистящий фальцет. И правильно делают, потому что все продумано. И все в кайф.

Даже бессвязное сочинение «Бангладеш» долгим ухарвским «драйвом» покоряет манеж Ораниенбаума:

Кто имеет медный щит,
тот имеет медный лоб,
кто имеет медный лоб,
тот играет в спортлото! -

и тут вонзается скрипичный «риф», а после него:

Бангладеш, Бангладеш!
Мы за Бангладеш!

Покорив манеж положенное количество раз, приезжаем в кассу за заработной платой и убеждаемся зрительно, что законно оформлено на незаконные ставки кроме нас еще человек десять.

Козырной туз у манежных деятелей Карповича опять же на руках. Заявление или чье-то постановление, короче, бумага, гласящая, что вокально-инструментальный ансамбль «Санкт-Петербург», не имеющий никаких каких-то там прав, устроил в манеже Ораниенбаума трехдневный шабаш, выразившийся в безнравственном хождении на головах, на ушах и еще, кажется, на зубах по сцене с призывами сорвать общегосударственное дело Спортлото.

Проторенная кривая возвращает нас в Университет, где на химическом факультете невероятными организационными ухищрениями Никита Лызлов получает *ангажемент*. Слово иностранное звучит затейливее. Затея, однако, без выкрутасов под банальным лозунгом «Вечера отдыха» тамошних химиков. Кайфователи это уже проходили и знают

наизусть. Они с радостной кровожадностью наполеоновской гвардии прорывают хилые кордоны «химических» дружинников, оккупируют огромный и пыльный зал клуба на Васильевском острове.

Вечер — да. Но отдых под вопросом. Предложившие все это под затейливым словом *ангажемент* долго не решаются объявить начало отдыха, но все же решаются, испуганные перспективой вместо отдыха стать свидетелями демонтажа их любимого клуба, и отдыхаем мы, «Санкт-Петербург» обиженный Карповичем, и наполеоновская гвардия, обиженная хилостью сопротивления, по полной, так сказать, схеме, а схема эта такова, что вспоминают ее иногда и по сей день. Долой респект и да здравствует весь спектр отработай ного дрыгоножества, «драйва», дурацкого «Бангладеша», догепатического сатанинства, додуманного импровизацией духарного дизайна душ!

(Как говорить о музыке без аллитерации, когда лиши глухой согласной на все можно передать хоть что-то?)

Это пришло вдруг, этакая находка! Пустой бутылкой стая играть на «Иолане», как на гавайской гитаре. После бутылку — бац! — вдребезги. Страсти зала также вдребезги на режущие осколки якобы объединения в одну пятисотенную глотку, поющую прощание с юностью.

Нас Карпович бьет авантюрами и доносами — бац! — Никитка взлетает на смычке как черт (ведьма?) на метле.

Нас карикатурят в столбцах газетные неосведомленыши — бац! — Николай ломает педаль и рвет-богу твоя мама — пластик тактового.

На нас пеняют за то, что мы есть, но мы-то есть, потому! что есть вы — бац! — микрофонной стойкой с размаху по крышке рояля.

Нас боготворят кайфовалыцики, потому что им это в кайф, а этого — бац! — я не могу попятить теперь и, как не пытаюсь, не оживить в себе простоты понимания той слякотной осенью накануне разрядки.

После химфака Валера Черкасов (о котором впереди) увязался в попутчики. По пути долго и тупо доказывал:

— Понимаешь, это уже почти уровень, почти Европа!

— Да, я понимаю, мы живем в Европе. Но почему лишь почти Европа?

— Понимаешь, еще чуть-чуть, и вы прорветесь. Вот именно! Вы прорветесь, а вместе с вами и все мы.

— Да, я понимаю — мы прорвемся. (Но не понимаю, почему мы прорвемся, если я стану музицировать порожней зеленой посудой и колотить железом о рояль не в припадке обиды, а заведомо стану музицировать бутылкой, и впервые, кажется, я подумал, что мы действительно куда-то прорываемся, а прорываться куда-то — это гораздо страшнее, чем просто так. Но ничего, подумал, не бывает просто так, подумал впервые, и, похоже, впервые затосковал о тех, таких уже давних днях, когда восторженным юношей утомлял себя в спортзале, наивно представляя простоту и непреложность олимпийской стези.)

Мы долго отходили после «Вечера отдыха», а потом прикинули кое-что кое к чему и купили чехословацкий голосовой усилитель «Мьюзикл-130» за шестьсот или семьсот рублей, собрали голосовую акустику из восьми качественных динамиков 4-A-32, добрали инструментального усиления до уровня «голосов», обнаружив неожиданно, что полупрофессиональная аппаратура у нас уже есть.

Стена не имела вершины, но вот она, долгожданная плоскость, где можно переночевать, разбив палатку и запалив костерок, погужеваться до поры, передохнуть

и поглядеть друг на друга, поглядеть в глаза и подумать, что дальше.

Никитка рвался в абитуриенты. Никита стал заниматься с ним, готовить к экзаменам по точным наукам. У Николая росла дочь и предстояло ему тоже как-то устраиваться, а не — врать всем, будто работаешь ночами неизвестно где. У Вити Ковалева тоже росла дочь, а жена справедливо ждала спокойствия.

И меня припекала жизнь: начиналась педпрактика, заканчивался академический отпуск, время диеты, прописанной врачами. Я снова появился на стадионе — мне только ухмылялись в лицо. Один слабак в прыжках, почему-то завистник, вечно врал, будто опять видел меня пьяным, хотя я чтил диету, помня о пережитой водянке и болях, и врал про «Санкт-Петербург», будто опять мы после выступления подрались (!) со зрителями. Я продолжал работать в метро, и сутки мои складывались занятно: с ноля-ноля минут до утренних курантов подземка, с одиннадцати часов педпрактика в школе, днем стадион, затем репетиция, какая-никакая, была ведь и личная жизнь, случались концерты, а к полночным курантам опять ждала подземка. Где-то в промежутках я спал. Чего только не выдержишь, когда тебе чуть за двадцать. До поры и выдерживал, пока не стал засыпать на работе стоя. Весной семьдесят третьего я из метро уволился.

На курсе педпрактику мою признали лучшей. Простым как маргарин, способом я добился почтительности у класса, прокрутив им во время внеклассной работы подборку музыки «Битлз» и проведя письменный опрос о понравившемся.

Опять была весна, весна семьдесят третьего. На проспекте Науки в кургузом клубике подростков мы репетировали упиваясь полупрофессиональным

звучанием, композицию «22 июня», в подкладке мелодии которой пытались рефреом уложить кусок из известной симфонии Шостаковича. Жена Николая принесла текст, и приятно сложился двенадцатитактовый традиционный блюз «Если вас спросят». Но трудно о музыке говорить, трудно рассказывать, как репетировали, ведь заранее никто партий не расписывал, они рождались в процессе, так сказать. Это, думаю, было самое радостное — присутствовать при рождении номера, мелодию и текст которого сочинил сам. И даже репетиции случались искреннее концертов. На концертах-то было все ясно заранее. Там делался заведомый кайф и заведомо было ясно, что придется выкладываться и уходить со сцены в мыле, но достигнутый успех уже не так интересен в повторах, как путь к нему.

Была слякоть и весна

Утро случилось сумрачное, и я долго просыпался, проснулся, поставил «Таркус» — сенсационный альбом «Эмерсона, Лэйка и Палмера», фантастическое трио пианиста Эмерсона, записавшего позднее в рок-манере «Картинки с выставки» Мусоргского, очень корректную и сильную пластинку...

Долго трясся в холодном трамвае, опаздывая на репетицию. Возле торгового центра, в его пристройке располагался подростковый клуб, стояли Никита, Николай и Витя. Увидел их издалека и почуял неладное — о чем-то они, похоже, спорили, а Николай отворачивался, делал шаг в сторону, возвращался, отходил снова.

Никита увидел меня и побежал навстречу.

— Привет, Никита.

— Ага, вот и мы! Привет. — Он возбужден, без шапки, а куртка расстегнута. — Все у тебя в порядке? Все? — спрашивает он, а я вздрагиваю: «Что-то не так? Где? Что? Что там еще?» Нервы я уже подыздергал

бесконечным восхождением по отвесной стене за последнее трехлетие.

— Что там еще? — спрашиваю Никиту, и мы подходим Николаю и Виктору.

— Сказал ему? — спрашивает Витя у Никиты.

— Сам скажи! — нервно вскрикивает Никита.

— Он умрет, — говорит Витя.

— На фиг, на фиг, на фиг все! — говорит Николай и де-»ет шаг в сторону.

Что за черт! Говорите же!

Никита и Витя переглядываются, Николай вздыхает проговаривает:

— Ничего, не умрешь. Сгорело все. Ночью пожар был. Все и сгорело. Тушили пожарники. Сгорело сто клюшек, вести шайб и шлемы еще.

— Какие клюшки? Что сгорело? Говорите, сволочи!

— Все сгорело. Вся аппаратура.

Мы стояли возле урны. Из урны торчал бумажный мусор, а урне белели засохшие плевки. Я сел на урну и улыбнулся.

— Все врете. Убью.

— Не врем, — сказал Витя.

— Нечего опаздывать. Сходи и посмотри.

Я сходил. Да, клюшки сгорели. Жалко. Такие новенькие были клюшки, шайбы и шлемы для клубных подростков. Как теперь клуб охватит подростков спортивным воспитанием. Ничего, жизнь воспитает. Воспитала же она меня и моих мужиков.

Я стою в дверях и смотрю. Врут, сволочи, не все сгорело. Обуглившиеся остовы колонок, словно печные трубы военных пепелищ, и еще железа целая груда. Врут, врут, врут, сволочи!

Сволочи шаркают по лестнице и молча останавливаются возле. Я плачу и не смотрю на них. Я смеюсь и не смотрю на них, и выговариваюсь матом.

Витя ковыряется в почерневшем металле, пачкается сажей, молчит, вздыхает.

— Чемодан-то, мужики, дернули. С микрофонами «Мьюзикл» дернули, а остальное подожгли.

— Да? Чемодана нет? — Никита роется в останках реквизита и подтверждает: — Чемодана нет с усилителем. Не мог он до пепла сгореть.

— На фиг все, — говорит Николай и шаркает по лестнице вниз.



А затем мы едем в милицию и там предлагаем свою версию серьезному капитану. Он слушает, морщится, набирает несколько цифр на телефоне и говорит в трубку непонятные слова, а после смотрит на нас с укоризной, смягчается и соглашается:

— Лады, пишите заявление. Все. Пишите.

Мы пишем, а капитан опять звонит, спрашивает, слушм и нам говорит:

— Пожарники утверждают, что загорелось от искры. Там рядом дорожники асфальт жгли, и ветерок мог искру занести через фрамугу.

Он и сам не верит, но он серьезный человек, у него ЧП.

— Тут, понимаешь, убийство, а вы... — говорит он, мрачней, смягчается и повторяет: — Лады, пишите. Поищем.

Он поискал и не нашел.

В клуб нас взял один из бывших баскетболистов. Бывал на концертах и предложил место для репетиций. Свой вроде парень, нервный только, но вроде свой. Говорят, он поигрывал в карты. И, говорят, проигрался. Теперь-то я уверен, что он и дернул чемодан с усилителями, микрофонами, что рассчитаться за проигрыш, а остальное поджег, замет следы. И замел. На тысячу с хвостиком дернул, а на две сжег. Свой парень. Его вызывал капитан. Кажется, вызывал. Кажется, поговорили. Но и только. У капитана было убийство. Нас этот хренов картежник тоже подстрелил, но...

Что за человек Витя Ковалев!

Для Вити Ковалева (понятно, классный парень, мастеровой из телеателье, улучшил классовой состав, и сотня прочих достоинств, и на базе, когда его не третировал Николай, выделявал выдающиеся коленца) настал звездный час. Он достал диффузоры для «тридцать вторых» динамиков и для басовых, и заменил сгоревшие, заказал деревянные части для барабанов — их в аварийном порядке исполнили неизвестные мне умельцы — перелатал усилители, оживив их. У нас опять был полный комплект некачественной аппаратуры приличной громкости и при желании можно было начать восхождение к необжитым вершинам полупрофессионального звучания.

С ворами мне доводилось встречаться в жизни достаточно часто. На стадионе не раз воровали тренировочные костюмы, однажды прохожие

алкоголики стащили целую сумку престижного легкоатлетического добра: два «фирменных» костюма, кроссовки из лосиной кожи, шиповки «Адидас», майку сборной Франции. После школы, когда делались первые музшажочки и появилось первое желание приобрести что—нибудь электрическое, один из дворовых умельцев взяли продать мою вполне приличную коллекцию марок и забыл все десять кляссеров с марками в такси. Соученик по Университету, умный и противный циник, поражавший мое юное воображение второкурсника регулярной нетрезвостью, однажды взял мой портфель с зачеткой, конспектами и, главное, с двумя пластинками английской рок-группы «Трэффик» под каким-то предлогом вышел на минутку и... встретился случайно лет через пять, испуганный, забитый, оправдывая» тем, что вот, только с зоны, и не бей, мол. Я не бил, было жалко. В поселке Юкки, у нас, бедных рокеров, украли поганый усилитель и тактовый барабан. Упоминавшийся Маркович тоже ограбил нас. Зашел я через десять лет в пивбар «Жигули» и увидел его за стойкой жирным, солидным хозяином жизни, то есть пивного крана. Он был рад увидеться, поболтать, вспомнить славные денечки и даже не взял денег за две кружки пива. Был у меня друг. Красивый, талантливый, остроумный. Победил в девятнадцать лет на крупных международных соревнованиях. О нем писали. Он любил Элвиса Пресли, «Роллинг Стоунз» и частично сформировал мой музыкальный вкус. Для нас с Лехой Матусовым он долго оставался чем-то вроде маяка, поскольку все у него получалось. Еще он очень нравился женщинам. И еще он очень рано начал попивать, а затем и просто пить, оставаясь, однако, до поры красивым и талантливым. А я собирал пластинки. У меня уже собралось десятка полтора рок-пластинок в оригиналах и десятка три хорошей классики. Все это пропадает из моей комнаты на проспекте Металлистов

весной семьдесят первого непонятным образом, плюс сто пятьдесят рублей казны «Петербурга». Довольно скоро по множеству косвенных, множеству словечек, жестов, встреч, звонков, чьему-то пробалтыванию, становится ясно — обокрал-то талантливый друг. Запасные ключи от квартиры висели всегда при входной двери — бери кто хочет. Он, видать, и взял. Встречаемся иногда и об этом не говорим, а об остальном говорим по-приятельски. А теперь вот картежник... С годами выработался все же нюх на воров, а один веселый из разномастного их племени, с которым вместе работал и который стал полуприятелем, даже весело сокрушался, что не получается объегорить меня, хоть и старался несколько раз. Нюх-то нюхом, но вот вам сюжет: женится брат. Скромно погуляли в компании родителей и нескольких братниных друзей. На следующее утро недосчитался брат некоторых подарков и полсотни рублей. Дружелюбный брат частенько принимает друзей, и иногда пропадает то зонт, то книга, то мелкие деньги. Ерунда! Может, завалились куда? Приглашаю как-то компанию брата к себе и утром, даже нет, через неделю, только через неделю выяснилось, что куда-то завалилась тещина хрустальная ваза. Ерунда! Бывает. Давал брату почитать кишиневский том Скотта Фицджеральда. Завалился. Ерунда! Бывает. Развязка сюжета: веселая сокурсница брата, замужняя и аспирантка, а теперь и коллега по НПО, попадает на краже денег. Воровала понемногу у коллег, но раз подкинули сумму побольше и выследили. У нее же нашелся и Фицджеральд. Суть да дело, аспирантка быстренько организывает беременность и от суда уходит. Она и на свадьбе была, и когда хрусталь пропал, и всегда, когда что-либо заваливалось.

Лозунг: «Грабьте друзей — это безопасно!»

О ворах можно говорить бесконечно, и даже интересно о них говорить, даже со странным уважением мы обсуждаем, бывает, их ловкость.

Но ведь Витя-то Ковалев возродил аппаратуру! И ничего другого не оставалось, как продолжить восхождение. И если стена бесконечна, то вовсе и не имеет значения, в какой точке ее ты находишься, отброшенный лавиной обстоятельств. Важно движение как факт, как содержание молодости.

Мы не ставили осознанных целей и не ждали от нашей музыки ничего, что можно было бы исчислить абзацами славы или деньгами. В начале семидесятых рок стал для моего поколения чем-то вроде кузни, где тебя испытывают на прочность и где из тебя не важно что выковывают, но или закаляют, или перекаливают.

Я начинал чувствовать, что перекаливаюсь.

Отчаянным весенним броском по бесконечной стене мы наконцертировались почти до предела, до истерии, от которой я спасался на стадионе, ворочая тяжести, бегая и прыгая, в надежде воссоздать в себе спортивный талант, набросившись на спорт, как англичанин на ростбиф, а Никита Лызлов корпел над дипломом.

Несостоявшийся абитуриент Никитка, закосивший армию Николай и страдавший от язвы желудка Витя Ковалев спасались по-другому. Это другое сплотило их надолго, это другое сожгло мосты и лишило запасного выхода, который был у нас с Никитой.

С этим другим подъезжал все время Валера Черкасов, и однажды он подъехал с банкой пятновыводителя, которым «дышал» и которым предлагал «дышать» Вите, Николаю и Никитке. Это другое мне всегда не нравилось, не нравилось инстинктивно, и я, пользуясь правом Первого консула обычно гнал с репетиции юных «пыхалыциков» — приятелей Никитки.

Во время концертирования на престижной и традиционно тогда для тогдашней рок-музыки площадке Военмеха Никитка в «Бангладеш» загнул соло минут на пятнадцать, и это был его кайф, и кайф Николая, Вити.

Я подошел и вывернул ручку громкости до нуля, но Никитка еще долго водил смычком по обесточенному альту, Не понимая, а когда понял, вывернул за моей спиной ручку от нуля до предела и вонзился солом в куплет. Пришлось пресечь кайф бывшего школьника коротко и жестко — просто выдернул разъем и выдернул так, что оборвался припой.

Но еще жило в концертах привычно-лирическое:

— Любить тебя, в глаза целуя,
позволь,

— пел Николай, и зал привычно был готов позволить все, все из того, чего ждал:

— Позволь, как солнцу позволяешь
волос твоих коснуться,

— и позволял он мне строить терцию Николаю;

Ты надо мной смеешься.
Позволь с тобой смеяться! -

а после такой терции я еще верил, что могу заткнуть рот любому соло, и лишь окрика или жеста достаточно для того, чтобы движение «Санкт-Петербурга» продолжалось до конца, как факт, как содержание молодости. Но движение по бесконечной стене равно неподвижности.

Весенним истерическим концертничеством мы лишь оплатили долги, образовавшиеся после восстановления некачественной аппаратуры.

Я же так старательно искал спасения на стадионе, что на меня перестали смотреть тамошние как на пропавшего а мой тренер, великий человек, опять рискнул и предложил в середине апреля поехать в Сухуми на сборы, предложил таким образом готовиться к летнему сезону. Он предложил, я согласился и уехал, и все лето без особого успеха пытался доказать всем, что спортивный талант еще не пропал.

Летом мы несколько раз встречались на репетициях. Несколько раз даже «Санкт-Петербург» кокетливо выступал без его Первого консула на незначительных концертах. Там Николай играл на гитаре и пел свои песни, а Никита подменял его на барабанах.

В сентябре «Санкт-Петербург» взялся за новую программу. Соскучившийся по музыке, я страстно репетировал целый месяц, а в сентябре улетел в Фергану на осенний оздоровительный сбор, где были беззаботные дни, дешевые райские фрукты с базара и легкие тренировки. Я давно не был так спокоен, впервые, кажется, осознав, как должно выглядеть счастье, и жалея после, что октябрь пролетел так быстро.

Вернувшись в Ленинград, я застал «Петербург» в клубе Водонапорной башни за репетицией новых сочинений Николая.

— Я давно не знал тебя такой! — отличным, жарким ритм—энд-блюзом встретили меня.

Я был согласен с ритм-блюзом, но испортил в итоге репетицию праздной моралью и требованием немедленно разучить две мои новые песни, не разработанные толком, путал слова и аккорды, бодро покрикивал на Николая и Витю, а Никитке шутливо приказал вообще заткнуться и встать в угол в качестве

профилактического наказания. Я не понимал, что загорелый, откормленный, натренированный, имеющий запасные выходы в спорте и дипломе истфака, я одним только видом своим вбиваю клин в трещину, разделившую «Петербург». Я был достаточно молод и, соответственно, глуп, чувства мои оказались хотя и яростны, но поверхностны. Иначе бы догадался прекратить эти окрики, сытое ерничество, догадался бы увидеть в своих товарищах талантливых артистов, загнавших себя на сомнительную тропу, то есть нет, оставшихся вдруг на бесконечной стене без человека, взявшегося, пообещавшего тащить вверх, вдруг если и не вышедшего пока из связки, то явно ослабившего ее...

Весной Николай попросил выделить денег на покупку недостающих барабанов — малого и бонгов. Мы решили выделить из общей кассы и в несколько заходов передали ему двести рублей. Наступил ноябрь, а барабанов нет. Хронически обворовываемый, я организовал расследование, благо его объект был всегда под рукой и не мог скрыться, и довольно просто выяснил, что никаких барабанов не будет. Хронически обворовываемый и видящий воров часто и в друзьях, припомнив Николаю трудовой семестр в метрополитене, я организовал какую-то китайскую кампанию по шельмованию товарища и изрядно в ней преуспел. Странно улетучился с годами дар внушения — видимо, теперь не хватает для этого однозначности мышления и узости представлений о должном. А тогда я мог часами говорить о том, я чем зацикливался, я и говорил весь ноябрь о несостоявшихся барабанах, и неожиданно Витя Ковалев, после часовой обработки, предложил:

— Давай его прогоним — не могут больше. Ведь ты пра! Мы выкладываемся, ишачим, а он...

Шел дождь. Мы стоим возле Финляндского на кольце «сто седьмого», и я поражаюсь выводам, сделанным Витей, Я вовсе не предполагал гнать Николая. Он являлся автором доброй трети «петербургской» продукции и вообще нравился мне.

— Как выгоним?

— А так! — Витя раскалялся на глазах и уже повторяв произнесенное, убеждая и меня, и себя: — Выгоним к чертям. У меня есть барабанщик. Так невозможно жить, когда вот так... вот деньги... Он же с тараканами и с ним никогда ничего не поймешь. И он еще, понимаешь, он вечно поносит меня, а я ведь, считают, первый в городе басист. Выгоним и выгоним...

На следующий день я подловил Никиту на химфаке и сказал:

— Надо гнать Николая, потому что так нельзя житья когда кто-то, когда нам так плохо, может за счет нас. Мы ведь дали ему на бонги и малый, но не пройдет, хватит, нас сволочи уже кидали сто раз, и чтоб еще и свой!

Никита посмеивался, посмеивался, нахмурился:

— Куда? Зачем? Николая гнать? Лемеха позвать? Брать деньги, когда нам плохо... Это плохо... Но все-таки... Может, не гнать? Может, дать срок? Месяц. Дадим срок?

Никитка, бывший школьник, права голоса не имел.

Неожиданно повалили финансово заманчивые предложения. Одно за другим. После лета студенты еще не расстратили в студенческих пирушках силы и стройотрядовские деньги. Вуз за вузом проводили «вечера отдыха», и наши дела стали заметно поправляться. Мне бы прекратить китайское шельмование товарища, но уже несло меня с горки и — эх! все побоку! — лететь бы и лететь! Казалось, что подобным жертвоприношением все исправится; казалось, что выгнать человека можно понарошку, не

сломав отношений, а слава и будущее «Петербурга» уцелеют. Я говорил:

— Гнать, гнать надо.

Витя говорил:

— Так невозможно жить, когда вот так вот деньги.

Никита говорил:

— Ха, можно и гнать... А может, срок дать?

— Пять лет, — отвечал сам же. — Без права переписки.

Никитка же права голоса не имел, а Николай ходил затравленный, но барабанов не нес.

Теперь мне неприятно думать, что я был так жесток и глуп.

А студенты проводили «вечера отдыха». Некое содружество студентов проводило «вечер» в банкетном зале гостиницы «Ленинград» и желало нашего содействия. Мы согласились содействовать за сто рублей гонорара и привезли некачественную аппаратуру в небольшой зал гостиницы, где и установили ее заранее напротив длинного банкетного стола. «Санкт-Петербург», собственно, не играл в ресторанах, поскольку это считалось дурным тоном и поскольку программа у нас была сугубо концертная. Студенты видимо, удачно потрудились летом и желали не просто слушать концерт, но и закусывать при сем.

Отстроив аппаратуру днем, мы явились, как договаривались с командиром недавнего стройотряда, к полдевятого чтобы начать концерт в девять.

Студенты оказались в основном мужского пола, сидел они за длинным столом угрюмо, набычившись, сняв пиджак] распустив галстуки и закатав рукава.

Начинаем концерт и чувствуем — что-то не так. Никаки тебе восторгов, аплодисментов, на нас просто не смотря Обидно, ну так что — играем себе и играем.

Дверь в банкетный зал приоткрывается, и в нее, я вижу просовывается белая угро-финская голова. За головой появляется тело, и по одежде я понимаю — это действительны угро-финн, а точнее, просто финн из соседней Суоми. Слушает, вежливо хлопает после финального аккорда. Скоро их уже несколько возле дверей. Слушают и хлопают этак вежливо, одобрительно. Скоро они уже, человек с двенадцать сидят за индифферентным столом возле студентов. Кто-то из отдыхающих студентов взмахом руки пригласил их за стол. Сидят, выпивают, закусывают, аплодируют.

А студенты все также — угрюмо и набычившись. Не реагируют ни на «Санкт-Петербург», ни на странных гостей. Тут мы и понимаем, что студенты так успели отдохнуть до девяти, то есть до начала концерта, что сил и сознания у них осталось лишь на угрюмость и набыченность.

Лишь бывший командир пытается прогнать блондинов, тянет то одного, то другого за локти; блондины согласно кивают и стараются напоследок что-нибудь ухватить на вилку Командир жалуется:

— Столько заработали — жуть. На той неделе гуляли «Москве». На позапрошлой — в «Неве». Денег еще навалом, а сил более нет. Что делать, а?

Они не знают, что делать, а мы, похоже, знаем. Надо гнать Николая. На эту тему переговорено с избытком, уже и не говорим. Что говорить? Гнать надо. Но не гоним. На одной из репетиций в Водонапорной башне я вдруг начиная поносить несправедливо Виктора, а Никитку затыкаю привычно. На Николая и не смотрю. По-людски толковать могу только с Никитой. А дома с родителями затяжная окопная война. Один месяц покоя и счастья все же не перевешивает четырех лет кайфа.

В конце декабря у нас несколько концертов на «вечерах-отдыха» с закусками, а в середине декабря мы

с Никитой заняты в Университете. В репетициях перерыв.

Даже Витя не звонит и не заходит, хотя живет рядом, зато звонят круглые сутки малознакомые олухи, и от звонков нет ни покоя, ни радости. Я прошу брата-девятиклассника:

— Если позвонит кто, говори, что я умер.

Он и говорит. Эффект потрясающий — полгорода волосатиков гуляет на поминках, оплакивая безвременно угасший талант.

Звонит Никита:

— Ты что, умер?

— Да, я умер. Во сколько завтра собираемся?

— В пять у Водонапорной.

— Кто-нибудь звонил?

— Никто не звонил. То есть покоя не дают по поводу твоей смерти. Но ни Витя, ни Николай, ни Никитка — эти не звонили.

— А они, сволочи, знают, что у нас игра?

— Как же! Знают.

— Значит, в пять у башни. До завтра.

Завтра в пять прихожу на улицу Воинова, там клуб Водонапорной башни, встречаю Никиту.

— Слышь, а наши уже уехали. Вахтер говорит — часа в три собрали вещи и уехали.

— Не подождали, сволочи. И ладно — таскать барахло не придется. Знаешь, куда ехать?

— Я ж и договаривался. Это на Охте.

Едем на Охту и находим двухэтажную стекляшку-кафе. На улице мороз. Продрогшие спешим на второй этаж, мечтая побыстрее согреться, и я еще лелею желание обругать «сволочен» за самовольный отъезд из Водонапорной башни.

Колонки и микрофонные стойки расставлены, провода аккуратно прибраны — Витина работа. Он

навинчивает микрофоны, а Николай возится с барабанами.

— Здорово, сволочи, — говорю я.

— Здорово, здорово, — отвечает Витя, а Николай молчит. — А двоечник где?

— Здесь он, здесь, — отвечает Витя, а Николай молчит еще больше.

Оглядываю зал, замечаю нескольких незнакомых волосатиков, боязливо посматривающих на меня.

— Это что, — говорю с напором, — опять двоечник притащил?

— Нет. — Витя докручивает на стойку микрофон, подходит, мнется, посмеивается, говорит: — Тут дело такое... Отойдем— ка.

— Никита, будь другом, достань «Иолану» из чехла! Пусть отогревается. — Никита кивает.

Мы с Витей отходим к лестнице.

— Чего у тебя?

— Такое дело... — Витя мнется.

— Говори же. Мне настраиваться надо. Кстати, штеккер припаял?

— Такое дело... Н-да. Мы тут две недели думали.

— Умные.

— Подожди. — Витя собирается с духом и начинает говорить не коротко, но ясно:. — Мы решили отделиться. У Никиты учеба. У тебя учеба и спорт. Это все хорошо. Вы побаловались, побаловались — и привет. А нам как? Потом в сначала? Да и вы с Николаем не сошлись. Никто не виноват. У вас свои дела. Вы в рок-н-ролле люди случайны а мы поставили жизнь. За аппаратуру частями выплатим. Сегодня играем без тебя и Никиты. Можете подождать и получить деньги. — Витя смягчается и просит: — Останемся друзьями?

Я чуть не задохнулся:

— Это ты видел? Друзьями! У-у, сволочи!

Я иду к Никите и смеюсь над ним:

— Ты случайный, понял? — Он не понял. — Они жизнь поставили! У них жизнь каждый день стоит, а у нас — случается! Я из них, сволочей, очаровников сделал, а они случайные! — Никита не понимает. — Ты не понимаешь? Нет! Нас выгнали! Меня эти сопля выгнали из «Санкт-Петербурга», который я сделал...

Витя подошел и положил руку на плечо.

— Успокойся, старина. Мы не сволочи. У нас теперь другое название.

— Убери руку, дружок. — Я сбрасываю его руку и отворачиваюсь. — У вас не может быть названия. У вас и имени-то нет.

— «Большой железный колокол», — говорит Витя и начал злиться. — Хватит, не воняй тут.

Я неожиданно успокаиваюсь:

— Ладно, перестая вонять. Что играть станете? Моих чур, не трогать.

— Мы две недели репетировали.

Набиваются в стекляшку рок-н-роллыцики и кайфовальщици, а мы с Никитой садимся за крайний столик и тоже кайфуем. Хорошо сидеть и кайфовать, когда другие поставили жизнь. Ничего себе поставили, думаю про себя с завистью. Николай играет на гитаре, а на барабанах колотит Курдюков. Мишка Курдюков — был такой барабанщик. Майкл! Когда они его успели подцепить, сволочи! Здорово спелись, сволочи, хотя Николай на гитаре и не пашет, но в сумме нормально звучит, кайф! А мы с Никитой кайфуем за сиротским столиком семимильными шагами, и через полтора часа кайф оборачивается икотой и головной болью.

— А ничего. А? Ничего это они рубят, — икает Никита.

— «Большой железный колокол», понимаешь, — икаю в ответ. — У них колокол, бля, а у нас икота.

— Ты кайфуй, сиди. Счас денег дадут.

— Кайфую. Главное, никакого тебе обходного листа.

— Кайф!

Мы получаем сотню пятерками, делим пополам и выходим на мороз. Сугроб на сугробе и сугробом погоняет — зима. Вихляя, подкатывает автобус. Я достаю пачку пятерок и выбрасываю на ветер. Подхваченные поземкой, пятерки вальсируют по сугробам.

— Деньги на ветер, — говорю я. — И ты выброси, Никита. Выброси.

— Нет, — отвечает Никита. — На фиг надо. Не выброшу. Ты пижон, старичок. Это работа.

— Это кайф, — не соглашаюсь я. — А кайф не стоит ничего. Ничего, кроме жизни.

— Вот, вот. Вот я ее и приберегу на случай.

Мы садимся в автобус и, долго икая, едем неизвестно куда.

Однако развод затягивается на неделю. Через Витю улаживаемся с «Колоколом» — те концерты, о которых договаривался я или Никита, работаем «Петербургом».



Привычно улыбаясь кайфовальщикам и рок-н-роллыщикам, и дрыгая ножками, срываем несколько лавровых венков, получая по сотне от предновогодних студентов и последний раз выступаем на «сейшене» с закусками в «Советской» гостинице, где на последнем этаже арендовали большой банкетный зал организованные кайфовальщики из недавних стройотрядовцев. То ли благосостояние росло, то ли солнечная активность виновата, но в конце семьдесят третьего «Петербург» почему-то приглашали концерттировать именно в кабаки.

Играем, дрыгаем ножками, кощунственно поем о том, чем жили вместе и с чем терзались на бесконечной стене.

Нас с Никитой не устраивает отставка по предложенной модели: вы, мол, случайные, а мы вам выплачиваем. Но в Водонапорной башне знают вахтеры Витю и Николая, и сейчас грузовичок с глухим кузовом ждет, чтобы отвезти и обратно. Вот именно — грузовичок. После концерта получаем сотню за поддельный кайф и долго грузим электродерьмо в грузовичок. Я подруливаю к ленивому водиле и, сунув десятку, прошу сперва подбросить на проспект Металлистов. в Туда ехать — делать крюк, но водиле за десятку все равно. Новый год на носу, и это наш последний общий кайф. Я сажусь в кабину к водиле, а Витя, усмехаясь, говорит:

— Напоследок с шиком, да?

— С шиком, старичок, с шиком.

Мужики залезают в глухой кузов и грузовичок фигачиш по морозным улицам на проспект Металлистов.

Заезжает во двор, останавливается. Выпрыгиваю из кабины и распахиваю кузов.

— Вылезайте, сволочи, приехали.

— Ага, — говорит Витя, вылезая, — черт, а куда это мы приехали?

— Ты приехал, куда ты, гад, за милостыней ходил.

Николай тоже вылезает, молчит. Никитка выскакивает! Никита за ним.

Никита поясняет:

— Такой попс, мужики. Сперва, подсчеты, потом — расчеты.

— Аппарат оставим у меня, подобьем бабки, а после разберемся, кому что.

«Колокол» молчит. Витя сморкается, Никитка плюется, а Николай просто молчит и курит.

— Обжилите? — спрашивает Витя.

— Жилить нечего, — отвечаю я. — Помогайте таскать...

— На хрен еще и таскать, — ругается Николай и уходил с Никиткой, а Витя все-таки остается помогать.

Развод по-славянски с дележом сковородок, самоваром и мятых перин.

Итог нашего восхождения обиден и насмешлив: Никита — минус пятьсот рублей, я — минус пятьсот тридцать рублей, Никитка — по нулям, Витя — минус двести рублей, Николай — плюс двести сорок.

На этом, собственно, история славного детища моего «Санкт-Петербурга», заканчивается, но не заканчивается жизнь, и эта жизнь, веселая и честолюбивая штука — не дает покоя, хотя помыслы мои все на стадионе и надежды жизни все там, но не верится, что более не кайфовать на сцене, бросая свирепые и презрительные взгляды в зал, кайфующий и вопящий.

Я призываю под обтрепанные знамена удалых Лемеховых, сочиняю публицистическую композицию «Что выносим мы в корзинах?», сделанную в трех — но каких! — аккордах, и пытаюсь подтвердить законное право совершена рок-н-рольных подмостков. Отдельные

схватки с «Колоколом», «Земляпами» и прочими вроде бы подтверждают силу, но объективный закон уже привел ленинградский рок к раздробленности, бессилию и временной импотенции. Грядут уже времена «Машины времени», когда аферисты-подпольщики кайфовальщики воспрянут духом, и завертятся серьезнь дела с московским размахом, помноженным на ленинградскую истерическую сплоченность.

Весной семьдесят четвертого я перепрыгиваю в высоту 2-14 на Зимнем первенстве страны, где побеждаю многих именитых, ближе к лету защищаю диплом, у меня рождается дочь, меня вот-вот забреют в армию на год... Как-то с Никитой в нестандартном состоянии крови и печени появляемся на выступлении «Колокола», где выползаем на сцену и с помощью Вити рубим мой супер-боевик «С далеких гор спускается туман» — как бы прощание с бесконечной стеной без вершины. После я крошу гитару о сцену под вой кайфовалщиков и прощальный плач «Колокола», после еду один домой, вдруг понимая, что — все, не могу, не хочу, истерия невроз, хочу тихо-тихо, прыгать, бегать, ничего не знать и не слушать.

Продаю свою часть аппаратуры, пластинки, магнитофон обнаруживая перед собой новую отвесную стену, и стена эта — олимпийская, у нее тоже нет вершин, по крайней мере для меня.

СТОП— TIME. ЯПОНСКИЙ УДАР НОГОЙ

Эти лекции про законы Хаммурапи у меня в печенках Вот Санька на лекции не ходит. Нинка — не ходит. Егор — не ходит. Никто не ходит, и я не пойду. Правда, они с другого факультета. Санька говорит, что их выгонят вот-вот. Им наплевать, впрочем, потому что Санька любит Нинку, Его любит Нинку, а Нинка любит меня.

Она мне противна. Она мне противна, потому что противна. Не знаю — почему это? Наверное, ее лицо не в моем вкусе. И руки, и ноги. Не знаю точно про свой вкус, но он мне неприятна. Ночь за ночью она проводит у самбиста. Сосед самбиста — мой знакомый. Мы не дружим и в помине. Поэтому он и сказал. На вечеринке в общежитии подошел и сказал. Я проверил — все точно.

«Академичка» — любимое место. В полуподвале «академички» поили кофе. Там и пиво продавали, а в большом зале пышные кулебяки ждали покупателей. Толстые женщины в белых передниках лениво косились на туристов. Туристы валом валили из кунсткамеры, которая в двух шагах от «академички». Там в банках заспиртовано всякое. Туристы покупали борщи и полтавские котлеты. Они покупали и кулебяки. Они все покупали и съедали.

Толкаю тяжелую дверь, еще одну. Ступаю по кафелю новыми ботинками. Подошвы скрипят. Совсем новые ботинки, не то что джинсы. Джинсы у меня заношенные. Поэтому и дешево достались. Но в них уютно, как в детской кровати.

Я сажусь за столиком рядом с Егором. У Егора большая голова, на ней большие глаза, нос, уши, широкие скулы и лоб. У него широкие плечи и широкая душа.

— Колян, — говорит Санька и протягивает рубль. — Мы тут все сидим и сидим. Прикипели к стульям.

— Здорово, Санька, — говорю я. — Мы с тобой еще не здоровались.

— Здорово, Колян! — говорит он. — Ты сходи за пивом. Ладно?

— Ладно. У вас на столе Манхэттен?

— Нет, — говорит Санька. — Это пивные бутылки.

В кармане у меня рубля полтора есть. Я тащу из буфета охалку «Мартовского». Вялая старушка убирает зеленую пригоршню пустых бутылок и вытирает стол.

— Весна на улице, — ворчит, шаркая к дверям. — Уселись! Тоже мне. И не курите здесь.

Пиво теплое и противное. Терпеть не могу пива. А Нинка любит. Она говорит, будто ей нравится его вкус. Сейчас сидит за столиком напротив и смотрит на меня. Теперь-то знаю, какая она скромница.

— Реферат завалили, — говорит и улыбается. — Зачет завтра завалим.

— Нас вот-вот выгонят, — говорит Санька.

— Я бы вас точно выгнал, — говорю им. — Но ты ведь первый умник на курсе. Да? Все это знают. Егор приносит очки факультету как пловец. А ты, Нинка, у них за красавицу. Все так считают. Да? Вас не выгонят. А я бы вас выгнал.

Смотрю на ее лицо и думаю совсем не о нем, а о том, какая она есть. Как она может улыбаться, когда ночь за ночью проводит у самбиста. Может, ей и хорошо там, у самбиста, но еще и улыбаться после этого — гадко.

— Что ты не пьешь? — спрашивает Санька.

— Мне противно пиво. Мне противен его вкус. Я его терпеть не могу.

— Что-то с Коляном такое! — говорит Санька.

— Нужно следить за биоритмами, — говорит Егор. — Ты следишь, Колян? Может, они у тебя отрицательные?

— Нет у меня никаких биоритмов.

Вот теперь у нее другое лицо. Уголки губ, опустившись вниз, выстроили пагоду недовольства. Слишком красиво сказано, конечно, но так мне казалось. Я доволен, что у нее стали, такие пустые глаза.

— Тогда бы и не садился к нам, если тебе все не нравится, — говорит Нинка.

Но я сижу за их столиком. Мне пива хочется, только вида я не подаю. Сижу и сижу как дурак. Сегодня утроей отжимался от пола четыре раза по двадцать пять. Руки болят теперь и грудь. Все утро тренировал «мая-гири». Стоя перед зеркалом и тренировал этот японский удар ногой. Вся надежда на него. Я знаю четыре блока и удары руками. Руки у меня слабые. Они сильнее, чем руки Синьки и руки Егора, хотя он и пловец. Можно было бы сказать, что у меня сильные руки, если бы умел рубить кирпичи ладонью. Я не могу рубить кирпичи, и поэтому я плохой боец. Но каждое утро отжимаюсь от пола и тренирую «мая-гири». Десять лет гонял на слаломе, и ноги у меня железные. Сегодня вечером у нас спарринг с другой группой, хочется победить, но руки-то у меня слабые, и зачем нужно было отжиматься от пола целых сто раз.

...В «академичке» сводчатые потолки, а в гардеробе еще и кривые, словно усмешка, зеркала. Однорукий гардеробщик дает в долг. Возвращают ему с процентами. Проценты очень маленькие, но я не беру у него никогда, а Санька берет регулярно. Как он отдает долги — не знаю: пиво мы на его рубли пьем. Так уж выходит.

Санька тащит меня курить. Он знает — я не курю. Я иду с ним. Стою возле телефона-автомата. Коротко подстриженная девчонка в рыжем свитере и черной замшевой юбке оправдывается в трубку перед мамашей. Говорит, будто у нее лекции и семинары, явится поздно. Я сам видел, как она битый час трепалась за соседним столиком с курносыми бородачами. И еще станет трепаться. Бородачи важничали, сидели на стульях прямые, в кримпленовых пиджаках. У одного на лацкане повисла белая капелька крема. Словно голубь пролетел. Это бородач пирожное лопал.

Если у меня когда-нибудь родится дочь, у нее тоже, наверное, будут лекции и семинары.

Из туалета выходит Санька с папиросой в зубах. Он весело подмигивает. Мы стоим в углу гардероба, и Санька жадно затягивается. У него бледное лицо и острые скулы. Язык у него тоже острый, но ему не повезло с Нинкой. Он любит ее, она любит меня, а проводит ночи у самбиста. Лучше бы она проводила их у Саньки или у Егора.

— Кури. — Санька протягивает папиросу. Я отказываюсь. — Что ты, как нечеловек? Все курят.

Он тычит мне в лицо своей папиросиной, и я беру ее. Мне противна папиросина, дым гадок. Он заползает в легкие — я кашляю. Санька смеется. Когда он смеется, у него обнажаются верхние десны. Друг он отличный, но десны у него противные, а зубы желтые.

— Сегодня к нам явился доцент, — говорит Санька. — Доцент как доцент. Лысый, в очках, плюгавенький. Все как полагается. Сказал, что будто бы никого куда-то там не допустит. К экзамену, что ли. И правильно сказал. Такой брезгливый и нудный. Но я смеялся целый час почти. Он меня выгнал. У него из-под брюк кальсоны торчали. Розовые. Кальсоны как

кальсоны. Но в такую жару и в таких; кальсонах он мог бы и заткнуться про экзамен...

— Ты счастливый человек, — неожиданно говорит Санька. У меня кружится голова.

— Какое-такое счастье? — спрашиваю.

— Сам знаешь какое! Везет дуракам. — Санька смеется, я тоже смеюсь, а потом начинаю злиться.

— Тебя выгонят, — говорю я.

— И правильно сделают. В детстве мне хотелось стать пожарником, а не дуреть от этих многоклеточных червей и всякой там гистологии... Ну и дурак же ты, Колян.

Теперь я уже злюсь по-настоящему. Он мне прямо-таки поет про счастье, а я и слова не могу сказать о том, что знаю. Егор тоже пристаёт ко мне с разговорами. Если бы им сказать, они бы быстро заткнулись. Но это выше моих сил. Им станет хуже, чем мне.

— Почему везет дуракам? — не унимается Санька. — Почему это они такие везучие?

— Ты первый умник на курсе. Да?

— Наверное.

— Но это еще не значит, будто я дурак. Да?

— Самый настоящий. На! Покури еще.

Я затягиваюсь — снова. Зачем это мне? У меня вечером спарринг. Но я все-таки затягиваюсь.

— Ты дурак, поскольку не понимаешь простых вещей. Очевидных! — говорит Санька. — Я все понимаю. — Нинка к тебе хорошо относится.

— Она ко всем относится хорошо.

— Особенно к тебе.

Мне Становится противно от его слов. Я знаю все лучше его. Хватаю папиросину. От дыма голова словно чужая. Рывком открываю входную дверь. Оборачиваюсь и кричу чужим языком чужие слова:

— Идите вы со своим пивом!

На факультете наши девицы потели от ужаса. Некрасиво так говорить о девушках, но так ведь и было. Они уселись на подоконнике в кафетерии и бубнили, словно больные: «...и побегоша печенези... побегоша печенези... печенези-печенези...»

— Девчонки, я вам запрещаю! — Я выдернул конспект у Гальки, нашего застенчивого профдеятеля, и прибил тетрадью первую майскую муху, усевшуюся на стене. — Вы же завянете! Станете желтыми от дыма, злыми от избытка ума. Вас никто замуж не возьмет!

— Ливанов, иди вон! Тебе все до лампочки, а нас мамы ругают!

— Девчонки, весной надо влюбляться!

— Иди и влюбляйся! А нам мамы обещали подарочки за хорошую сессию.

— От вас надо отнять юбки и выдать что-нибудь нейтральное. Проглядите вы своего печенегу. Он от вас убежит. Это точно!

Меня прогнали. Час болтался по коридору истфака, ввязываясь в разговоры. Студенты, измученные экзаменационным стрессом, ходили на студентов из кинофильмов. Я поплелся опять в «академичку». Только Егор сидел там. Он меня никогда не раздражает. Он словно громоотвод. Пообщаешься с ним чуть-чуть, и все становится на место. Кто-то ведь должен олицетворять здоровую силу. Вот Егор ее и олицетворяет.

— Егор, — говорю ему, — что-то мне все надоело и противно. Что-то все не так, как должно.

— А как должно? — спрашивает он.

А ведь действительно интересно, как все должно. Я знаю, Егор не притворяется. Просто он такой парень — ровный и надежный, как невская набережная. Но что-то меня его надежность сегодня не трогает. Многие мучают меня, и дело тут не только в Нинке.

— Как должно? — повторяю его вопрос. — Не знаю. Но я ведь не такой человек, чтобы мне все надоело просто так.

— Мне кажется, биоритмы нужно высчитывать. Вот я читал...

Но теперь мне и от его слов противно, как от бутербродного маргарина.

— Ты плаваньем занимаешься?

— Занимаюсь, — удивляется Егор. — Ты что? Ты ведь, знаешь.

— Вот ты и высчитывай, а я пойду...

Так и мотаюсь по Университету целый день.

Студент Клюковкин врезал мне в ухо на третьей секунде... Вот что значит настоящий японский удар ногой. Удар оказался точный, хотя и слабый. Я упал, поскольку вдруг понял — студент Клюковкин станет меня колотить сколько-вздумается. Он такой длинный и с румянцем во все щеки. Он такой простодушный студент, что думал, наверное, будто осчастливил меня своими японскими ударами. Я лежал на полу в меланхолии. Сенсей сказал всего одно слово: «Иппон!» Студент сиял счастливо, счастливей всех на свете. Сенсей — это Гришка Тхавели. Мы звали его в школе Алаверды. Какой он, к черту, сенсей-учитель — он только Гришка. С ним гоняли на слаломе. Я его обставлял только так.. . Теперь он для меня сенсей. Он рубит кирпичи, а я не рублю. Потому и лежу, и мне противно все. Пахнет потом.

— Ты что, Ливанов? — спрашивает румяный дылда Клюковкин.

Он подает руку, я встаю. Для такого дылды рука у него игрушечная, но какая-то жилистая.

— Я-то ничего, Клюковкин. Я поскользнулся. — Противная у него фамилия, болотная. — Споткнулся о твою ногу. Клюковкин, — отвечаю. — Вот и все.

Мы стоим друг против друга, кланяемся по-японски. Руки по швам, ноги вместе. Кимоно у меня черное, пояс черный. Босиком на полу холодно. В левой пятке заноза с прошлой среды. Клюковкин в таком же кимоно. У всех они одинаковые.

Когда я сидел в раздевалке, в зале еще спарринговали до опупения. Они стучали ногами об пол, хотя боец должен передвигаться неслышно, как кошка. А они еще и вопили. Вопить, если по правде, даже очень кстати. Когда ты вопишь правильно, то это не вопль вовсе, а кимэ. Специальный прием такой, чтобы стать от него как железный прут...

Зачем это мне быть железным прутом?

Никого в раздевалке. Только одежда свалена как попало. На скамейке, в сумках, на подоконнике, на полу даже! Пиджаки, пуловеры, трусы, тапочки, носки, ботинки, кожаные корочки, кепки и шляпа Гришки. Он в этой шляпе как миссионер. Как какой-нибудь первый пуританин в Новом Плимуте. Шляпа папашина, из фетра. Такие носили лет двести назад, я думаю. Потом они вышли из моды, а теперь их снова напяливают.

Сажу на скамейке в плавках и смотрю на свои ноги. Мне не хочется быть железным прутом, но они у меня железные. Спасибо слалому. Если бы еще знать японский удар...

Зачем это я так верю в него? Санька, похоже, был прав, когда говорил, какой я дурак. Но мне хочется верить. Это точно. Мне хочется, стоя в «кибо-дацэ», выбросить вперед ногу, согнутую в колене, выхлестнуть голень и поразить цель.

А какую цель?

Вот я думаю, сидя на скамейке, слушая, как в раковине стучат редкие капли из крана, втягивая ноздрями весь этот букет прокисших запахов раздевалки.

А какую цель я хочу поразить?

Думаю и думаю. Мысли как муравьи. Тянут и тянут всякий мусор. Муравейник, пожалуй, получится. Стану потом отбрызгиваться от всех муравьиной кислотой...

Я вспоминаю Нинку: какая она курносовая и вертлявая, какие у нее круглые глаза, какие белые белки глаз — ни одной красной жилочки не видно. Я вспоминаю Саньку, его шуточки. Почему-то именно он притаскивает свежие хохмы в «академичку». Я не вспоминаю Егора, просто знаю, какой он парень. Год назад маялись дурью на ледяной горке. Кого угораздило грохнуть с горки головой об лед, как не меня! Егор первым сообразил, что делать и куда бежать. Моя мать теперь его боготворит и правильно делает, поскольку он отличный парень, и зря Нинка так обошлась с ним. И с Санькой. И со мной. И тогда я вспоминаю себя. Я почти не знаю, какой я есть. Говорят, нужно всю жизнь узнавать себя. Может, и так. Я все время разный. Я был маленьким и ходил под стол пешком, стал большим, и мне купили школьную форму. У меня стали пробиваться усы, и мне купили электробритву и часы, я стал студентом, и меня обманула Нинка, а студент Клюковкин въехал в ухо ногой на третьей секунде. Вот зачем нужно знать японский удар ногой. Чтобы никто, чтобы никто и никогда не въехал мне в ухо ни на третьей, ни на последней секунде. Чтобы мои круглые, умеренно бьющие розоватые уши не пострадали. Чтобы они остались целы... Ну а зачем мне круглые розовые уши, хотелось бы знать! Неизвестно. Чтобы лучше слышать тебя. Тебя, музыка. Все теперь очень любят музыку, и я люблю, когда она гремит всюду. И вот что я сделаю сейчас: пойду в душ, вытрюсь после полотенцем, надену джинсы, надену все, что с себя снял, куплю в автобусе билет, и он привезет меня на химфак, а там сегодня все наши — Санька, Егор, Нинка и все остальные, — там

сегодня будет шуму. Парни из «Санкт-Петербурга» наведут шороху. Они, все наши, еще не знают, как это больно, когда японским ударом бьют тебе в голову...

В автобусе без зазрения совести целуются на заднем сидении. На ней зеленый платок, на ней все зеленое. На нем черный блин бескозырки с белым кантом и клеши. Он гордится, что ему позволено целоваться.

За окнами автобуса весна. Из почек вылупляются листочки. Маленькие, липкие, тоже зеленые. Мы проезжаем мимо овощной лавки — продают огурцы. Огурцы эти мне противны. Парниковые огурцы. Без пупырышек. Тепличные ныродки. Я колдую над словом «лавка»: «Овощ-ная лав-ка». Буква «л» — язык упирается в зубы, отскакивает от них — «А». «В». «К». Снова «А». «Лав-ка». Это слово нерусского происхождения. Оно, я думаю, от английского «лав». Очень крепкое слово и совсем весеннее! Лавка! Это значит — постель новобрачных. Это первая брачная ночь, любовь без обмана, без всяких там штучек, без самбиста. Это темная-темная ночь, будто издалека доносится музыка, кто-то тихо пиликает на электроскрипке... Странно вспоминается прошлогодний стройотряд — громкие дни и куртки защитного цвета, пыль на лицах и Нинкиных губах. Сквозь пыль первая улыбка мне. Облизываю губы. Жара и жажда. Почти чувствую, как перемешивается пыль наших губ...

Я еду и еду, вечер уже вымочил своими чернилами.улицу...

Возле химфака кавардак. Толпа норовит прорваться. Толпа прорывается кое-как. Человек сорок еще толкуются в дверях, когда двери закрывают изнутри на замок. Из-за дверей ругаются химфаковские

дружинники. Они честят непрорвавшихся. Кому-то из дружинников коленку разбили, вот они и бранятся. Я тоже непрорвавшийся. Отхожу от дверей. Мне противно и тошно. На втором этаже открывается окно, из окна высовывается Егор.

— Егор! Я здесь! — кричу я.

— Колян, где ты? — кричит он. — Беги за угол, Колян. Там труба. Полезешь по трубе, а я помогу.

— Ни хрена себе, — плююсь я и бегу за угол.

Там труба для стока воды — грязная и гнутая. «Нуте-с», — шепчу я и хватаюсь за нее руками. У меня слабые руки, чтобы рубить кирпичи, но по трубе я залезу. Если только она не оторвется.

— Не бойся! Она крепкая, — кричит мне Егор.

Он распахнул окно и высунулся по пояс. Протянул руки ко мне. Труба крепкая, на стене рядом выбоины, в которых крошится разбитый кирпич. Когда есть выбоины, лезть по трубе — левое дело. Это точно.

— Эва! — говорит Егор, втягивая меня в окно. — Ну ты и вымазался. Ну ты и грязный!

— Да? Это не я грязный, — говорю. — Одежда грязная. Я-то чистый. Только что в душе плескался.

— Эва! — говорит Егор. — Кто-то что-то такое тебе сделал, Колян. Ты только скажи. Я ему... не знаю даже. Ты только скажи.

Мы закрываем окно. Рама скрипит, с нее сыплется скорлупа облупившейся краски.

В зале дым коромыслом. Наши все прорвались. Они среди этого дыма и этого коромысла как щуки в камышах. На стульях сидят, между стульев, на подоконниках, под подоконниками, перед сценой и на самой сцене. Эти химфаковские дружинники нахимичили. Им бы впустить всех сразу и закрыть наглухо. Будет им сегодня «традиционный вечер химического факультета».

Егор меня тащит к сцене. Ноги приятно ломит после спарринга, и почти не кружится голова. Мне было бы почти хорошо, если бы я не помнил, как плохо было целый день. Возле сцены я увидел Нинку, тут на меня снова и накатило.

Вон Санька рукой мне машет.

— Привет, Санька! — кричу. — Ты жив еще, старый пьяница!

Санька смеется.

— Привет, Нинка! — кричу.

Она мне противна.

Я сижу перед сценой, поскольку люблю музыку, и наши всегда сидят перед сценой — там она гремит вовсю. Но сегодня я другой уже. Свой парень, но чуть-чуть не такой, как они. Не лучше — нет-нет! Но другой. Мои розовые, умеренно большие уши разбиты. Это не уши — лиловые гроздья. Спасибо студенту Клюковкину, мерси самбисту — от его заочной колотушки мне еще хуже, чем от румяного студента.

На сцене не поймешь что. Лемехов Серега усы распушил. Мы с ним почти не знакомы. Один раз только истребляли шампанское в мороженице на Владимирском.

Четыре человека паяльными лампами тычут в усилитель. Три кандидата и один аспирант. Пахнет канифолью. От канифоли морщится пятикурсник и что-то втолковывает Рекшану. Тот парень сердитый, зря ему пятикурсник выговаривает. У студента башка как мяч регбиста. На мяче шнуровка рта. По этому студенту так и хочется стукнуть ногой. Рекшан кивает, кивает...

У «Санкт-Петербурга» плохая аппаратура. У них дрянная акустика, усилители у них еще хуже. Самая плохая аппаратура в городе — у «Санкт-Петербурга». Они этим знамениты. Но они лучшая рок-группа в городе не только поэтому. Не стану врать почему, но

они наши ребята. Есть у них песня про камень. Так после этой песни гранит заплачет. А мы орем и свистим.

Усилитель запаяли, в нем загорелись лампочки. В зале лампочки потухли. Взорвался светом прожектор. Табачное облако ползет параллельно полу.

Когда «Санкт-Петербург» грохнул, я понял — вечер у химиков прахом пошел. Так им и надо. Нечего выпендриваться.

Братья Лемеховы гитарами размахивали, а Рекшан ногой крошил бубен, сидя за пианино. Этот трюк с бубном я знаю: каждый раз один и тот же бубен колошматит. Склеивает и снова — в кусочки. Вот Джими Хендрикс сжигал гитары. Он их посжигал порядочно, а потом умер.

Все наши свистят и стучат ногами. У химиков от изумления расползлись швы на их регбистых башках. Санька над головой курткой машет. Когда Лемеховы в коде ударили по струнам, а Рекшан коленкой врезал по клавиатуре, он эту куртку на сцену бросил. Хорошее название — «Санкт-Петербург». А главное — точное.

В перерыве Нинка хочет ко мне подойти. В толпе не пробраться. Санька тащит меня за собой. Он идет за сцену курить. Никогда не могу отказаться, если меня тащат.

— Ноги затекли, — говорит Санька, — руки затекли. Все отсидел.

— Вот ты куртку и выбросил.

— Дурацкая куртка, хотя и фром Ландон. — Санька морщится и машет рукой. — Отец новую привезет.

— Тебе легче.

— Ага. Легче всех.

Мы садимся за сценой на стол.

— У меня тут куча теорий, — говорит Санька. — Все сегодня сочинил. «Стремление материи к самоуничтожению», «Человек — праздник материи», «Теория брачного договора» и еще несколько.

Он жадно затягивается, веки чуть вздрагивают. Словно крылья бабочки. Вот взмахнет крыльями...

Санька говорит долго, я слушаю. Постепенно речь его начинает стихать, стихать для меня. Она вовсе прекращается, только видно, как открывается рот, оголяя десна. Какой-то новый смысл рождается во мне. Еще не знаю, что суждено мне выродить. Может, это будет мышь, хотя куда мне до горы...

У Саньки дурацкая манера тыкать в нос папиросой. Я беру ее. Ему надо, чтобы я взял папиросину, иначе он видит, что я не слушаю.

— ...Материя рвется к жизни, — говорит Санька, я затягиваюсь. — Весь смысл ее — стать живой, мутируя из неживой: из камней, воды, смертей, стеблей и смолы. Вот зашевелились амебы, ползут ящеры, макаки хватают палки. Живая материя становится разумной... Серого вещества все больше. Если проследить прогрессию, то вся материя должна стать серым веществом. Материя хочет жить. Осознанная — осознанно. Она хочет жить и тогда начинает уничтожать себе подобную — разумную. Во! И вот разумную...

— Знаешь что, Санька... — перебиваю я.

— Подожди, — перебивает он. — И вот разумная материя допетривает до самоуничтожения! Может, в этом и есть ее глубинный смысл, закон. Черт ее знает! Даже звезды — пх-х! — взрываются. Сперва белые гиганты, потом красные карлики, черные дырки, потом — пх-х!

Санька смешно взмахивает руками, изображая космический взрыв.

...Я есть материя разумная. Вот иду как бы по неживому — по — полю. Иду босиком, заземляя статическое электричество своего тела. Здесь травы, пахнет вереском, острый запах вереска бьет в ноздри. Здесь и живая материя, но не разумная: кузнечики на

складных ножках, бабочки, усыпанные пудрой пыльцы, похожие на Санькины веки.

— ...И вот тогда я излагаю теорию «Человека — праздника материи». И это отнюдь не идет поперек теории самоуничтожения...

Снова речь его стихает и мой путь — по вереску, сквозь его запах. От зноя губы солонны, а тело потно. Редко жаркий воздух вздрагивает ветерком...

— ...В патриархальном обществе семья крепче панциря, в цивилизованном обществе на один брак — один развод. Куда-то подевались дети. Нужна новая форма, потому что одиночки не составляют гармонии. В борьбе противоположности должны соединяться. Я говорю о «Теории брачного договора»...

Мои губы снова шепчут то слово, над которым я колдовал час назад. Язык прижимаю к губам — «л». Отскакивает от них — «а». «Лав-ка», — шепчу я.

— Тепличные выродки, — говорю я Саньке.

— ...Чтобы орава юристов в специальных конторах, оснащенных вычислительной техникой, составляла договор.

Вытягиваю руку вперед, почти затыкаю ему рот ладонью.

— Мы с тобой тепличные выродки, — говорю. — Понимаешь ты или нет?

Санька замирает, глаза его останавливаются и гаснут. Я вижу — он понимает лучше меня. Испуганно улыбается, словно меньше становится. Хлопает ресницами, большим веером своих ресниц. Он по узкому коридору, цепляясь плечом за шершавую стену, идет к двери. За дверью «Санкт-Петербург» дает прикурить. Там сцена, там Рекшан запел про «сердце камня», а я остаюсь в затхлом коридорчике один. Только запах вереска еще со мной и духота.

— Тепличные выродки, — говорю я, глядя на противоположную стену, на паука, который как брошка

и который замер в углу, поджидая добычу.

Рабочие натянули оранжевые жилеты. Лица их казались хмурыми и сонными. Они деловито переругивались. От ловких щелчков окурки чертили траектории в темноте, словно светлячки. Была ночь, короткая майская ночь, преддверие белых ночей. Рабочие втыкали ломы под рельсы и дружно наваливались, но рельсы не поддавались. Слышался скрежет металла о щебенку. Брань становилась изысканней. Взлетело еще несколько сигаретных светлячков.

Мать давно перестала ждать меня вечерами. То есть она, наверное, ждала по-прежнему, но это перестало быть делом благодарным. Я мог остаться и в общежитии, и у Егора, и вообще» кого угодно. Меня все равно бы дожидалась на плитке сковородка с котлетами. У моей матери котлеты особенные. Таких котлет больше нигде нет. В них лук и чеснок. Вкус у них... Это вкус воспоминаний о беззаботном времени, за него мы цепляемся до сих пор.

Последняя электричка уходила в ноль часов ноль минут. Я не поеду сегодня в Ольгино. А зачем я пришел сюда? Буду сидеть на перроне и смотреть, как меняют рельсы. Может, при виде фигур в оранжевых жилетах, их движений, направляемых рациональной логикой, мне удастся понять смысл не только овощной лавки? Может, уйду с перрона обновленный, заряженный электричеством их рационализма?...

Мне все надоело. Я не стал проситься ни к кому. Мне надоел Санька с его теориями, Егор с его лаконизмом, «Санкт-Петербург» с их песенками, все наши с их кофейным трепом. О Нинке я говорить не стану.

Поднимаюсь по ступенькам, глядя на рабочих. Почему это меня привлекают их широкие корявые

спины и прокуренные голоса?

Иду по платформе, ежась от холода, ступаю в мелкие лужицы недавнего дождя. Легкий дождь смочил город. словно ловкая рука медсестры влажным тампоном коснулась раны. В окнах гаснут огни. Темнота бинтует дома, улицы, лица...

И тогда я вижу Нинку. Даже в темноте видно, как она мерзнет, дрожит в плаще, опустив подбородок в шелковый шарф.

«Что она делает здесь? А как же самбист?»

Подхожу к ней, беру ее ладони в свои. словно моллюск, захопываю раковину своих ладоней. Долго-долго стою так. Пока не чувствую — ей теплее, а лицо становится светлее, чем ночь. Мы и слова не говорим. Лучше всего не говорить ни слова. Лучше бы люди больше молчали, лучше бы — онемели. Махали бы руками, как глухонемые. Так ведь не разболтаешься. Не совершь. Не оскорбишь случайным воробьем слова.

...Мне так не хватает Саньки с его папиросами.

— Откуда ты взялась?

— Ты дурак, Колян. Тебе хоть раз говорили об этом?

— Который день мне твердит об этом Санька. Почему ты здесь? — Откуда-то смелость взялась. Она переполняет меня, как вода тонущее судно. — Ты что, сегодня не станешь ночевать у самбиста? Или тебе отказали в постое? Или как?

Ей опять стало холодно. Я прицелился точно. Как в тире. Под яблочко! словно в ласковых годах, когда жестяные гуси, ободранные чужими пульками, падают с крючков. Когда отец покупает еще пять пулек после бани за меткость и опять падают гуси...

— Колян, — слышу я. — Колян, ты что несешь? — шепчет она, а я думаю: «Что же я несу?»

И когда мои губы устремляются к ее губам, я понимаю, что несу на губах поцелуй, а ее лицо закрывает весь мир. Я погружаюсь в мир ее лица и ее

шепота: «Колян-Колян...» Слова расползаются на звуки, и с ними исчезает смысл. После движение происходит в обратном порядке. Звуки складываются в речь, в ее речь шепотом. Из шепота растет самбист. Он растет и растет. Он являлся и дальним братом, и близким другом с женой на сносях. Он олицетворял собой благородство и широкоплечистость, а Нинка уже месяц не ладила с отцом, с матерью, с теткой и бабкой, другой бабкой и дедом-лауреатом. Она не хотела ладить с ними. Это ее дело — ладить с ними или нет. Ей хочется жить так, как ей хочется, и потому она живет теперь у дальнего брата в проходной комнате...

— Что за глупости, Колян? Я хотела сказать, но подумала... Ты же мог не поверить. Ты бы и не поверил. Ты и сейчас не веришь. Просто невыносимо. Я ведь не знала, что ты знаешь. Дурак ты, и всё.

И тогда я почувствовал снова, будто японским ударом мне попали в висок. Из темноты свирепая сила хлесткого «наваси» оглушает меня.

Я готовился стать железным прутом. Каждое утро отжимался от пола и тренировал «мая-гири» возле зеркала. Я уже был готов нанести японский удар, пережив первый удар предательства.

Уже моя нога сгибалась в колене. Уже цели некуда деться, и мне, битому, предстояло узнать сладость реванша.

— Нинка, — говорю я. — Этого не может быть, Нинка.

— Ты о чем, Колян? Поцелуй меня. Ведь я так и знала.

Целью моей являлся я сам. Бил самого себя и от себя получал же.

— Неужели, Нинка! — почти кричу я. — Неужели жизнь проживу и никто меня не предаст! Быть не может того! Нинка, это ведь страшно знать наперед, что хоть кто-то, хоть случайно, хоть как, но предаст

тебя! Я прозрел, выходит, и мне страшно от собственной тепличности. Зачем нас, Нинка, растили в парниках!

Саньку отпевали на третий день. Из Подольска прилетела бабка — девяностолетняя старуха. Она и настояла на отпевании. Санькины родители сперва сопротивлялись ее желанию, но горе сломило их. У академика Кислова еще глубже запали глаза, что-то в них замерло, остановилось, словно часы, в которых соскочила пружина. Санька похож на него. Похож на него глазами. Этого достаточно, чтобы появилось сходство. Когда я сказал за сценой, будто мы выродки, у него также соскочили пружинки в механизме глаз. Теперь его отпевали, поскольку старуху горем не сломить. Она прожила долго и насмотрелась на чужие смерти, ждала и свою. В ее памяти сплошное кладбище. Умерли те, перед кем благоговела, с кем шла бок о бок, погибли те, кто ушел на фронт, умерли все соседи в Подольске — приехали новые люди, начали уходить из жизни старшие дети, ушли все, кроме младшего, ушел первый внук...

Эта маленькая старушка с белыми волосами, белым лицом. У нее громкий, хрипловатый голос. Ее знали профессором еще во времена Распутина и Родзянко. Ее мужества хватило на всех — на старших Кисловых и на всех нас. Ей послали телеграмму утром, а вечером она уже топала маленькими ножками на золовку, которая сразу утихла и согласилась выпить успокаивающее; она звонила куда-то, звонили ей; она подняла на ноги (через никому не известных стариков и старушек) полгорода.

Все это происходило на моих глазах. Кисловы попросили меня разобрать Санькины записи. Им казалось, что у него обязательно должны быть записи.

Я рылся в письменном столе. Ощущение дурное. Будто роешься в карманах чужого пиджака, а хозяин стоит за дверью и вот-вот вернется.

Записей не нашел. Откуда им взяться. Все, что Саньке приходило в голову, он рассказывал в «академичке». Попадались остроумные мысли, оригинальные, веселые. Никто из нас не записывал их и не запоминал.

В ящиках стола я нашел пять магнитофонных кассет. Три оказались пустыми. На одной — плохая запись лучшей пластинки «Битлз» — «Эбби Роуд». На пятой — наша болтовня на Санькином дне рождения. Запись вышла смешная. Только на ней почти ни одного слова не разберешь.

В одном из ящиков лежала пачка папирос и мятый лист бумаги. На листе нарисована моя физиономия. Я узнал себя. Такая родинка на виске только у меня. Внизу Санька вывел три слова: «Его любит Нинка». Он не соврал, но теперь это ушло на десятый план, после того, как случилось несчастье. Впрочем, я вру. Но это волновало Саньку. И я задним числом не хотел причинять ему боль и думать о своей любви, пока рылся в полупустом мертвом письменном столе и почти что плакал.

...Мы говорили с ним за сценой, и теперь я никогда не узнаю, что думал он о моих словах. Его сбил мотоцикл в тот же вечер. Санька упал на асфальт. Перелом основания черепа. Он умер через час в больнице. Никто не был виноват. В его крови нашли алкоголь. На мотоцикле марки «Ява» ехала толстоногая девица в красном шлеме. У нее тряслись руки, когда я на следующее утро приехал в больницу. Она сидела на корточках в углу возле урны, и слезы капали на шлем, который она держала в руках. Она такая же, как мы. Она убила Саньку. Может, его убили мои слова: он все

воспринимал близко к сердцу. Но мои слова — правда! От нее он и погиб...

Духовное лицо в тяжелой одежде ходит кругами. Или это круги в моих глазах. Все празднично. В церкви много золота. Наверное, так и надо. Ведь человек отбывает в лучший мир. Но доказано совершенно точно — бога нет. И тогда во мне разгорается мучительное желание, чтобы лучший мир был, и Санька отправился бы туда, жил в нем, в лучшем, без смертей, зла, без всего того, что составляет наш — не лучший.

Смотрю в пол. Почти нет сил смотреть туда! В мое плечо Нинка роняет слезы. Три дня только слезы вокруг. Вспоминаю, Нинка мне говорила: «Прежде чем полюбить тебя, я почти полюбила Саньку».

Бабка из Подольска взглядом одергивает Санькиных родителей. Она молчит, сжав зубы. Ее старческих губ не видно совсем. Роста она ничтожного, волосы редкие. Уже не волосы совсем, а белые ниточки дряхлости. Но она смотрит так... Почти жестоко. Под ее взглядом перестает, почти не уби-иастся Санькипа мать.

Егор стоит за моей спиной. И за его спиной стоят. И я стою за чьими-то спинами. Егор шепчет еле слышно: «Как же так... как же так...»

«А так, — думаю я. — И ты, Егор, со своими биоритмами, и Нинка со своим провансальским прононсом, и я, словами убивший Саньку, все мы — без пупырышек, все мы из красивой лавки зеленого цвета, все мы выращены в прелой теплоте парника... Вот так», — мысленно отвечаю Егору.

Почему мои мысли путаются? Почему-то золото красиво? Почему? Почему откомандировывать в лучший мир нужно в этих золотых стенах? Человек придумал красоту золота. Она гарантирует лучший мир здесь — в не лучшем...

Зло— зло-зло... И то зло, что мы не можем быть злом злу. Ничего мы не можем. Зачем нам перебили позвоночник долгого парникового детства?...

Зачет я завалил, экзамен сдал, курсовик сдал. «А в смерди и в холопи три гривны», — провозглашала «Русская Правда». Они там хорошо знали, что почем.

Аспирант щурился на меня поверх очков, я его не интересовал. Он обедал с некрасивой библиотекаршей в «акаде-мичке» каждый день. Она выглядела лет на двадцать семь и, наверное, торопила время, чтобы со временем увяла ее некрасивость. Срок ее еще не пришел. До той поры она появлялась каждый день в новых платьях, ярких и неумело сшитых. Не от этого ли аспирант грустил, проявляя полное безразличие к моей персоне. Воскрешал ли он в своей грустной памяти ее некрасивый профиль? Может, она казалась ему ненаглядной — Дианой или Флорой? Мы скучали, сидели друг против друга, пока я отвечал. Феодальное хозяйство древнерусской вотчины оставалось для меня вещью в себе, а Санькин треп все еще звучал в ушах. Уже почти не помнил его речей, но все-таки это были живые слова, и они начинали приобретать особенный смысл. Их смысл оставался неясен, что-то в них было. Нинка любила меня, и я целовал ее на перроне, когда на Саньку летел мотоцикл. Я видел тот мотоцикл во сне: он сверкал хромированными частями, в зеркальце дальнего вида отражались звезды, колеса отбрасывали назад грязную полосу асфальта...

Июль начался жарой и комарами... Они впивались с лету, потом приходилось нервно чесаться.

Сессия — время шатаний. Студентов, этих школяров, словно стало в десять раз больше. Лестницы и курилки, кафетерии и скверы забиты ими. Незнакомые лица вокруг, знакомые потерялись. Я потерял почти всех, но только Нинка — тот человек, который мне

нужен, когда нет Саньки. Не говорю про Егора, потому что ясно, какой он парень.

Мы стоим с Нинкой возле парапета, за нами течет река, а солнце припекает лицо.

— Сегодня девять дней, — говорит Нинка, — ты помнишь?

Ее волосы падают на плечи, ветер играет ими. Касаюсь своими пальцами ее волос. Мягкие! Тонкий запах духов слышится мне.

— Как ты думаешь, я виноват перед ним? Если бы я не пошел на перрон, не целовал бы тебя, а остался с ним?

— Никто не виноват, — отвечает Нинка.

Но я знаю, всегда есть виновный. То есть всегда найдется причина. Каждое утро и вечер я тренирую удар. Меня не так-то просто сломать. Даже Клюковкину не сломать, хотя в мае он три раза сбивал меня с ног хлестким «наваси». Я сопли вытирал, вставал, кланялся по-японски. Каждые утро и вечер я отжимаюсь от пола сто раз и тренирую «мая-гири». Мое тело наливается силой, словно весенние тела тополей. Теперь-то я знаю, для чего предназначен японский удар, кто цель, и зачем становиться железным прутком. Я могу ошибаться. Пока могу. Единственное знаю точно: возможны предательство и смерть — мои новые знакомые. Это может случиться практически, а не в книгах и разговорах.

— У меня тоже зачет не сдан. Но я-то сдам, — говорит Нинка. — Приедешь вечером? Егор обещал к шести. Много наших обещало.

— Зачем мне их видеть? — отвечаю Нинке. — Я не говорю про Егора. Что мы станем о Саньке говорить? О том, каким он не был? Какой он? Какие мы есть все сейчас? Никакие. Пока что никакие. Мы станем говорить, каким он не был и какие не есть мы?

— Ты жестокий, Колян. Главное, не становиться подлецом, а Санька не подлец. Колян, ведь сегодня девятый день. Ты приедешь?

— Об этом глупо спрашивать. Я приеду... Невозможно не любить никого. Я люблю мать, Егора и Нинку. Жаль, узнал раньше срока — меня предадут. Хоть раз в жизни — это точно. Я рад, что сейчас люблю Нинку, пускай это и беззащитная вспышка.

Из троллейбуса она мне машет рукой. Уже и не видно ее в толчее. «Десятка» заворачивает на мост, а я еще долго стою и шарю по карман. Чтобы не забыть Саньку, курю «Беломор». «Беломор» все также противен. Я был продолжил Санькино дело, но дел он не оставил, так хоть стану курить его папиросы.

Мимо Ростральных колонн иду вдоль геометрии зеленых газонов. Справа желтый шпиль с яркой бабочкой ангела, такой мертвой, насаженной на иглу золотого гербария. Между островами мост. И я вышагиваю по этой оглобле моста, за которым вырастают тонкие распятия мачт «Кронверка». Два африканца в клетчатых «дудочках» скалят белые зубы, хохочут, жестикулируя, роняя учебники. Впереди дылда катит цемент на тележке. Две девчонки идут за дылдой, размахивая мастерками. На них заляпанные краской робы. Я иду за ними.

Перед глазами кружится. Кажется, из расклеенных газет пыпадут все буквы и, как горох, поскачут по асфальту.

Иду дворами, сырая прохлада подворотен обволакивает меня. Достая из джинсов ключ, покрытый налетом ржавчины, заталкиваю в замочную скважину. Рычажок щелкает, и я пихаю обитую жестью дверь.

Мне хочется явиться раньше всех. Нажимаю клавишу выключателя. Почему-то его называют дневным. Чем это он, интересно, напоминает дневной свет?

Достаю из портфеля кимоно. Оно не высохло еще после вчерашней тренировки. Представляю, как противно его будет надевать. Я снимаю с себя то, в чем пришел. Шлепаю босиком по холодному полу. Засовываю ноги в черные портки кимоно, затягиваю куртку поясом, черным, шершавым, прошитым тремя строчками.

Выхожу в зал, иду по залу, ежась в сыром кимоно. Бух-бух-бух — отдаются в зале шаги.

Сажусь на скамейку и долго сижу, прислушиваясь к шорохам зала, к тому, как стучит сердце, как бьется кровь к вискам, как замедляет свой ток, словно в устье, в венах ног. Я гляжу на решетчатые окна полуподвала, за ними видны пыльные — в трещинах — стекла. Через стекла пробиваются желтые гранулы света.

Встаю, опираясь на гимнастическую стенку, начинаю делать наклоны. В пояснице хрустят позвонки, словно крымская галька. Натягиваются мышцы бедер, их холодные волокна почти звенят. Мои мышцы как струны, как гитара артиста. Тело согревается, орошаясь первой испариной.

Разминаю суставы рук — плечи, локти, кисти. Каждую фалангу пальцев мну до боли.

Становлюсь в стойку покорности: ноги вместе, руки по швам. Кланяюсь... Стойка готовности: ноги шире плеч, стопы параллельно друг другу, руки чуть согауты, параллельно ногам... Вот правая нога резко уходит назад, замирает прямая. Левая чуть согнута, левая рука останавливается над коленом, сжатая в кулак. Все меньше в голове мыслей. Становится легко и прозрачно. Вот правая нога, сгибаясь в колене, медленно движется вперед, разгибается медленно, левая рука прикрыла солнечное сплетение, правая опущена...

Сперва медленно, потом все быстрее. Быстрее и быстрее. Все хладнокровнее и злее. И так до тех пор,

пока не начинаю видеть стену, постепенно выступающую, будто из пелены дождя.

Мертвая, заплесневевшая зеленоватым мхом, сложенная на века. Ни щелочки не видно, ни просвета. На стыках плит бледная трава.

Я бью по стене ногой, японский удар тупо отдается во мне, но пальцы боли не чувствуют. Считаю по-японски до десяти, и:

— М-мм! — с криком выбрасываю ногу вперед.

Все быстрее и быстрее. Без крика и с криком. С криком еще хладнокровнее и злее и еще быстрее. Уже со скрежетом сдвигается одна из плит. Вот другая начинает сдвигаться, разрушая монолит стены, которая уже почти готова рухнуть. Ведь японского удара хватит — так думается прозрачными и пустыми мыслями — чтобы опрокинуть эту мертвую стену зла...

Перед последним ударом, когда мой крик готов стать самым злым, а я — наихладнокровнейшим и быстрым, она, как и всегда, превращается обратно в туман, с желтыми гранулами уличного света внутри. Туман растворяется сам по себе. Его движения складываются во взмахи цветастых платьев, в звуки — полсекунды виолончелей, пиккол, скрипок... Кажется, вот-вот ударит оркестр сержанта Пеппера и надвинется скучный прищур аспиранта, хрусталики глаз которого словно кривые зеркала луж...

В рассеивающемся тумане я снова вижу себя. Его — мое — лицо пусто и бледно, а в глазах хладнокровие и злоба, будто предгрозовые ласточки, сложившие крылья. И когда я уже почти готов нанести этот всесокрушающий японский удар, по телу пробегает теперь уже хорошо знакомая судорога страха.

PART TWO

Фельдшер задирает подол белого халата и мочится на угол деревянного барака. Я останавливаюсь, опускаю на снег кедро, полное серебристого антрацита, а он, фельдшер, не переставая мочиться, повторяет надоевшее:

— Топить, топить надо! Температура падает.

Но температура на котле за восемьдесят, и я не виноват, что холодно в старом дырявом бараке возле пирса. Фельдшер стар, но не дряхл, он морщинистый, худой и низенький, напоминающий то ли морского конька, то ли черепаху без панциря. С утра фельдшер мучается похмельем и пристаёт к кочегарам.

Возле котла после улицы жарко. Я выворачиваю антрацит в ржавую бадью и начинаю чистить топку. Ажурные и горячие пласты шлака, ломаясь, вываливаются в широкий совок. Я выхожу на улицу и опрокидываю совок над сугробом, коричневатая пыль летит по ветру, а снег шипит и плавится. Тридцатипятиградусный мороз прорывается под свитер, и я со странным удовлетворением вспоминаю про хронический тонзиллит, подтверждающий мое петербургское происхождение.

В моем возрасте — мне тридцать шесть — в моем тонзиллите и в моем кочегарстве нет ничего трагического. У меня: есть серьезное гуманитарное дело, в котором, я чувствую, назревает удача, а кочегарка — это честный способ временной работой оплатить временное жилье с окнами на царский парк и золоченные ораниенбаумские чертоги.

Я возвращаюсь к котлу, закрываю дверь, долго сижу, греюсь, смотрю на огонь и курю. Ох и надоел же мне этот фельдшер! У меня независимая комнатуха

возле медсанчасти, но мне хочется посидеть здесь и не думать о гуманитарном деле, к которому следует принуждать себя каждый; день, поскольку еще на стадионе так учили, и я свято верю, что принуждать себя стоит ко всякому делу, в котором рассчитываешь на успех. Я и принуждаю, хотя лень кокетлива и влечет, как женщина. До тридцати я был добротным, словно драп, профессиональным спортсменом, и до тридцати, это было хорошим прикрытием для непрофессионального гуманитарного серьезного дела.

Но иногда хочется — чтобы сразу, чтобы без долгих терзаний на долгом пути, каждый шаг познания на котором лишь отбрасывает от загаданной цели, чтобы с простодушием новичка сразу победить и успокоиться.

И вот позапрошлой осенью мы встретились случайно на Староневском и поговорили, укрывшись от дождя в парадной.

— Ты ведь знаешь, — сказал Николай, — нас уволили.

— Знаю, — соглашаюсь. — Говорил кто-то.

Мы курим и вспоминаем то, что почти забыли. Николай отмякает и неожиданно признается:

— Жениться хочу.

А я ему:

— Совсем меня запутал, — говорю.

А он:

— Нет, это фиктивно, — говорит. — Год за кооператив не плачу! Представляешь, директор столовой из Конотопа. С золотыми зубами. Пудов на шесть в сумме, — усмехается, прикуривает от зажигалки и продолжает: — Как нас из кабака погнали, Витя на курсы пошел и теперь цветные телевизоры чинит. Говорит, что денег, как у дурака махорки.

— Это называется «приехали», — говорю я.

— Это может называться как угодно, — говорит Николай.

— Никита, считай, доктор наук. А Никитка?

— Не знаешь? Полтора года получил.

— Как же так?

— А вот так. Кайф!

Мы молчим и молча расходимся, а через неделю встречаемся в общежитии «Корабелки» в холодной комнате, заставленной электродерьмом, и наша встреча глупа, смешна и глупа — смешно то, чем мы занимаемся в «Корабелке» полгода, забыв: я — о гуманитарном деле, Николай — о золотозубой конотопчанке. Мы репетируем музыку! Дюжину лет назад я наострил от нее лыжи и так шустро чесал прочь не оглядываясь, что вот опять оказался в замусоренной комнате, полной электродерьма. Спасибо Жаку — длинному носатому оптимисту. Это он командует электродерьмом и бас-гитарой, на которой и утюжит с посредственным упорством. Ты, Жак, похож на Паганеля. Или... не знаю. На изобретателя. На изобретателя пипетки!

Шутка подходящая.

— Ха-ха, изобретатель пипетки! — смеемся мы, а Жак больше всех.

Он хороший парень и давно не пьет.

Мы — это мы плюс Кирилл на клавишах и Серега на первой гитаре, молодые мужики и почти виртуозы. Я же дюжину лет как не первая гитара, я вообще никакая гитара, просто я опять все сочинил, а у мужиков хватило ума., чтобы транжирить полгода и согласно раскрашивать простецкие мелодии. А как же — ведь первая в России, как паровоз Черепановых, первая «звезда» рока! Я так долго не вспоминал этого, что теперь хочется говорить об этом на каждом углу. А Николай, похоже, помнил об этом всегда.

Хочется сразу, без долгих терзаний, хочется простодушно победить и успокоиться.



Весной на площадке Рок-клуба в приличном зале, где есть сцена и занавес, куда не попадешь без милицейского или культпросветовского блата, мы выступаем на концерте перед клубными троглодитами, шишки которых отводят нам место в первом нафталиновом отделении. Празднуется какой-то юбилей, и в первом отделении выступают старые пеньки рок-н-ролла. Отдавая должное желаниям троглодитов на ретроспекцию, я знакомлю их со сценическими примочками пятнадцатилетней давности, то есть выбрасываю в зал на потраву троглодитам пиджак, полчаса усердно пою и бегаю по сцене. Троглодиты кровожадно потрошат пиджак, а это значит — я со своим тонзиллитом, а Николай с конотопщицей, мы еще, выходит, конкурентоспособны.

Один по весенним лу-ужам
иду туда, где я еще ну-ужен.
Лузи тербит ветер.
Мой город лучше всех на свете!

После отделения за кулисы набивается рота почитателей, таких же старых пеньков, поздравляют с возрождением из пепла непонятно во что, поздравляют так, что по весенним лужам еле добираюсь туда, где я еще нужен.

— Попс! Крутой кайфовый попе! — пристают целый месяц знакомые троглодиты, от которых я шарахаюсь в ужасе, поскольку лишь на время отложил серьезное гуманитарное дело и боюсь, так сказать, испортить себе репутацию, а Коля Мейнерт, серьезный критик из Таллинна, оказавшийся на концерте, пишет:

«Наш ветеран похож на человека, уснувшего у пылающего огня и проснувшегося у потухшего костра. И вот теперь он тщетно дует на угли, пытаюсь возродить былой пламя. Грустно, но трогательно».

Наверное, так выглядело со стороны. Но ведь я дул на угли для того, чтобы согреться, а не для того, чтобы приготовить завтрак. Этими завтраками я уже сыт по горло. И вот теперь, возле котла, согреваясь не каким-то метафорическим теплом, а просто жаром, исходящим от пылающих углей, я не могу вспомнить правды мотивов, да и не хочу ее.

И тем более я не хотел ее в прошлом году. Без правды было проще выслушивать про «крутой кайфовый попс» и еще несколько раз вылезти на сцену неизвестно зачем...

Снега нет совсем, но и зелени пока нет. И хотя солнце почти по-летнему оккупировало дни, небо еще холодно, а город кажется сиротским, неприбранным с грязными сырыми газонами и мусором в каналах — этих удивительных сточных канавах, оправленных в классический гранит.

Неуютно и в пригороде Шушары, в котором под афишу чин чинарем мы концертируем за символические, зато легальные рубли вместе с

экстравагантно-веселой группой «Аукцион». Эти ребята работают в «новой волне» остроумно и с жениховским напором, который и сублимирует в декадентский спектакль.

Танец с условными саблями, исполненный в Рок-клубе месяц назад, дает право «Городу», так мы теперь называемся, играть второе отделение. Мы играем вдруг настолько собранно, что нас теперь уже (правда, не без происков со стороны приятелей-начальников в современном узаконенном времени рок-жанре, отведших нам с Николаем место в величественной гробнице романтического начала, в какой-то пирамиде, в неприступности мертвого величия) приглашают, нам позволяют принять участие в очередном фестивале рок-музыки.

И, раскрутив колесо опять, я думаю: «Да, мы утерли нос женихам и показали настоящий „драйв“. А мертвая легенда, как подкачанная шина, обрела упругость, и колесо завертелось. Но тогда у нас было по одной мысли, а вместе, как сжатые пальцы, мы становились кулаком. Теперь только у меня пятьдесят мыслей, и все о разном. И у Николая сто пятьдесят. Да сколько еще у наших виртуозов! И мы как открытая ладонь...»

Я шурую в топке котла длинной кривой кочергой и вспоминаю о том, как опять все сочинил, и отпечатал тексты в трех экземплярах, и в добродушном учреждении народного творчества заверили их печатью, поскольку в моих текстах не было крамолы. Смотря что принимать за крамолу. Ее не было и тогда в нынешнем понимании, как нет ее теперь в понимании прошлом. Главное! У меня не хватает молодости для диктаторства, и я не могу потребовать от виртуоза Сереги, чтобы он сжал свою виртуозность, а не размочаливал по всем тактам так, будто выговаривается на гитаре последний раз в жизни. Я не могу объяснить Кириллу, что все верят в его вкусный и

быстрый пианизм, и не стоит ему сстызаться с Серегой, выплескивая вместе с водой из ванной младенца моей певческой мысли. А Николаю я уж и подавно не говорю, а надо бы сказать:

— Коля, хорош! Ты, я знаю, отличный и тонкий аранжировщик, а я стихийный недоносок. Но всякое сценическое действие имеет смысл, только если оно обречено на успех. Нас же спасет только энергия, а во мне ее хватит, пожалуй, на разок-другой...

У меня нет права ломать им кайф, и я не говорю ничего. А город тем временем почти повеселел зеленью и похорошел. Май!

Я нарочно сочиняю бредовую композицию а-ля «Я памятник воздвиг», в которой пространно утверждаю, что вот все теперешнее — чуни собачья, а я да Николай, мы еще дадим всем про это самое. Композиция называется «Мужчина — это рок».

Намереваясь подтвердить делом объявленные претензии на мужчинство и желая как-то подпитать серьезное гуманитарное дело, я отправляюсь за неделю до фестиваля в дачный поселок Дивинское с топором и пилой. Володя Мартынов, старинный приятель времен бандитских налетов на «Муху» и химфак, а теперь округлившись и лысеющий ма-кетист, нечаянно получил заманчивое предложение. Заманчивое предложение — это сруб в двенадцать несчастных венцов, это стропила, это ломовая работа и быстрые деньги. «Что ж, мужчина — это рок», — соглашаюсь я на его предложение поучаствовать в плотницкой затее. А если рок — это я, то и плевать на злое майское комарье и мошку, от которой на ночь приходится заматываться в тряпье, но даже сквозь тряпье до утра поют под ухом кровососущие гады; а если рок — это я, то и плевать, что бревна мокры и тяжелы — офигеть можно, и может развязаться пупок, но видать, его хорошенько когда-то завязали, и мы эти офигенные бревна раскатываем,

рубим пазы и замки целую неделю, поскольку рок там или нет, но у Мартынова семья, и сыну нужен мопед, а у меня серьезное гуманитарное дело, и если бы раньше знать, насколько оно серьезно, то, может, и хватило бы ума подыскать себе дело посчастливей и повеселей. А повеселей — сочинять песенки и дрыгать ножками на сцене, хотя это веселье и обошлось много кому боком, и, махая топором перед фестивалем, я прихожу к временному выводу: «Ведь нет, брат, такого дела в нашей пролетающей жизни, которое не потребовало бы хоть малости пота и мозолей до крови...» Тут поспевают и настоящая кровь. Мы заканчиваем нижний венец, и на скобах пытаемся приподнять семиметровое сырое офигенное бревно и посадить на замки. Всесильный рывок — и, имитируя физику для средней школы, Володя отлетает и сторону, падает на топор, разрубает запястье, бежит к палатке, я бегу за ним, ищу бинт, пугаясь, глядя, как сочится кровь из зажатой раны... Рана не так страшна, как показалось со страху, но все равно надо ехать в город и накладывать швы. Все одно, я собираюсь ехать в город, чтобы после топорно-комариной недели правомочно заявить с фестивальной сцены все, что думаю о мужчинах...

Да, есть товарищи-начальники, не желающие видеть в нас с Николаем ничего, кроме мумий. В том десятилетии они подходили на цыпочках, и мы их знаем, как солдат томление, и теперь им не в кайф, если мумии оживут и, не дай бог, выскажутся с фараонской бесцеремонностью.

— Почетное право открывать фестиваль мы предоставляем «Городу», — объявляют на собрании артистов перед боем.

«Ага. — думаю я, — открывающий всегда в пролете. На нас станут электродермо отстраивать. Открывающие всегда проваливались на их фестивалях».

— «Модель» и «Алиса» в первый день после «Города», а во второй день с утра... так-так... и вечером «Аквариум»,.. а потом...

— А жюри? — спрашивают артисты.

— Такие-то и такие-то, — отвечают начальники рок-н-ролла.

— Это же враги первостатейные! — не нравится артистам.

— Еще мы проведем в жюри таких людей, которые станут отстаивать наши принципы и наши идеи.

«Конечно, идеи! — злюсь я. — Всегда находятся идеи и те, кто желает их отстаивать. Ведь безболезненно и выгодно, не умея ничего, иметь идеи и намерение их защитить».

Я думаю и о том, как умеют они сплотиться вокруг любой малости, дающей возможность, не умея ничего, иметь все.

А теперь говорят о билетах, и это тасовка номер один.

Рок— начальники решают:

— Билеты получают группы по анкетам и те, кто заплатил взносы. А участники получают по два комплекта.

Начинается ругань. Делят билеты. И это не смешно.

— Участникам давали по пять! — кричат артисты.

— А теперь по два, — отвечают начальники. — В Клубе стало больше народу.

Ругань продолжается. И все делят билеты. Это не смешно, потому что артист готовится к любительскому фестивалю год, тратит жизнь и деньги и не получает за работу ничего. За его работу получает ДК, продавая тысячи билетов; много кто получает, но меньше всего артист. Будет неправдой сказать, что артист не получает ничего. Фестиваль — это пять концертов, а если тебе, как участнику, дают пять комплектов, то в сумме выходит двадцать пять билетов, которые

перекупщики оторвут с руками, ногами и головой до червонца за билет, то есть, сокращая билетные льготы для выступающих, сокращают их возможную зарплату.

Я всегда говорил, что хуже всего быть рок-артистом, а лучше всего защищать идею и не уметь ничего.

ДК продает тысячи билетов, но не через кассу. По заявкам на предприятия. Наверное, и по липовым заявкам. У маклеров комплект фестивальский стоит до сотни, и комплекты берут, еще как берут, ведь на фестиваль приезжают из разных городов провинциальные троглодиты, и им не жаль на троглодитство своих провинциальных денежек.

Ругань ни к чему не приводит. Выдают по два комплекта. Я бы артистам объяснил, как получить по пять в одну секунду. Я же знаю, как тасуются на билетах в принципе, и в принципе чую крутежку за версту, но мне просто лень организовывать восстание. Наверное, приятелям-начальникам потому и радостней думать, что мы с Николаем мертвые, великие мумии.

Я подхожу после собрания и говорю:

— Первыми — это же подставка. Я и так вылезая раз в пятилетку, а вы меня подставляете.

— Нет Ты не прав. Во-первых, «Городу» логичней открывать фестиваль, ты сам понимаешь. Во-вторых, ЛДМ выкатывает «Динаккорд» и вы успеете покатать программу.

— «Динаккорд»? — спрашиваю я. — Будет «Динаккорд»? И дадут покатать программу?

В последний день весны почти жарко. К двум часам лечу в ДК катать программу на «Динаккорде». Домажорная губная гармошка «Хоннер» со мной, театральная драная футболка со мной, театральные тапочки со мной. Ага, я же звезда рок-н-ролла, и от меня до Земли несколько световых лет!..

Сценический образ подсказывает бытие — я мужик с топором в руке, от меня должно нести махоркой и сивухой. Решили «Городом» сгоряча: в конце отделения под гвоздящий «риф» Сереги колуном порублю на дрова дюжину чурок. Но не нашлось колуна и желающих приволочь чурки. Зато Николай обещал подыскать на стройке, которую охраняет сутки через трое, пару новеньких, но незаметно расколотых кирпичей. Мужчина — это рок! Буду поддельно ломать кирпичи на сцене. Хватит с троглодитов и липовых кирпичей... Я прилетаю в ДК гонять на «Динаккорде» программу, но «Динаккорда» еще нет, зато есть Николай. Он стоит злой с приятелем возле запертых служебных дверей. Приятель желает пройти на открытие фестиваля и заготовил целую сетку классических русских взяток.

— Не открывают, — говорит Николай не здороваясь. — Совсем охромели.

Я стучусь в стеклянную дверь. Появляется тетка в жакете.

— Мы работаем сегодня!

— Списков еще нет! И чтоб паспорта были! — кричит тетка через дверь и уходит.

«Мы этому вшивому домику культурки план делаем, а они — паспорта!» — думаю, но не говорю ничего Николаю, а спрашиваю:

— Жак где?

— А-а! Изобретатель пипетки. Он внутри, говорят, на сцене ковыряется.

— Короче, — говорю. — Они еще за нами побегают. Пойдем-ка на солнышко, загар половим.

— Пойдем к реке, — говорит Николай. — У Пети тут... Лучше у реки.

«Понятно. — думаю. — Конечно, Петя. Как нас эти Пети любят и как не прочь теперь с ними поякшаться Николай».

— Пойдем, — соглашаюсь. — Хоть к реке, хоть куда. ДК чист, благообразен, светел, а за ним мазутный обрыв к Неве.

По нему мы спускаемся к самой воде и устраиваемся возле ржавой бочки. Петя шуршит свертком.

— Вчера человека встретил. Хороший человек. С Чегета.

— Друзья, — соглашаюсь и смотрю на Николая. Он не нравится мне. — Ты не забыл, нам играть сегодня. Сыграешь?

— Нормально, все нормально, старик.

— А это? — я киваю на Петю и его сверток.

— Только лучше будет, — отвечает Николай, а я пожимаю плечами.

Тепло так, и вода рядом — сидеть бы и сидеть. И никакой, главное, истерии после плотницких забав. Кайф!

— А кирпичи! — спохватываюсь я.

— Вспомнил, — усмехается Николай и расстегивает сумку. — Держи. — Он достает гладкий яркий кирпич с симметричными дырками, словно это сырой оковалок.

— Совсем не видно, что сломанный.

— Целый день искал!

Николай мне не нравится. Но я не диктатор, и его право-нравиться или не нравиться мне.

Над обрывом появляется Жак.

— Ну вы чего тут, топиться собрались? — кричит Изобретатель Пипетки, и я радуюсь его оптимизму.

— «Динаккорд» е? — спрашивает Николай.

— Нет, — кричит Жак с обрыва. — Везут.

— Пойдем? — предлагаю Николаю. — Настроиться надо. Да и с барабанами разберешься.

— Пускай они меня позовут, — говорит Николай, а Петя согласно кивает.

— Ладно, сиди. Позовут, когда надо будет. — Я поднимаюсь, но и Николай поднимается.

— Дождешься их, — говорит. — Ладно, покачумали.

Мы поднимаемся к Жаку. Тот посматривает на Николая и посмеивается. Возле ДК уже шеренга милиции и толпа троглодитов. Нас пропускают в стеклянную дверь служебного входа, и мы находим свою артистическую комнату.

— Virtuozы явятся, нет?

— Все нормально. Они за «примочками» полетели.

Слоняюсь по полупустому ДК, сижу в буфете над стаканом сока, мотаюсь по фойе, где разглядываю разноцветную выставку с фотографиями модных рок-артистов. Сплошной «Аквариум». Такая мода на дворе.

Наташа-фотограф смеется за спиной:

— Я ваших фотографий не делала. Скажи Николаю спасибо. Слайды мои посеял...

«Плевать мне на твои фотки», — но тут же неожиданный холодок обиды растекается под сердцем. У Наташи-фотографа целый архив негативов. Она снимает уже лет... не знаю сколько, но много. Даже штамп свой — «Наташа: поп-фото». Желающие могут приобрести фотки любимых рок-артистов по рублю за фотку. А Николай, значит, ей насолил, и она, выходит, не станет нас продавать по рублю. Да и кому мы нужны! Если бы были нужны, намолотила бы кубометр фоток и не помнила бы обид. Я всегда говорил, что рок-артистом быть хуже всего.

Но хуже всего то, что желанный «Динаккорд» привозят только за час до начала. Сто человек, наверное, бегают с причиндалами рок-труда, но они-то могут спрессовать время и извлечь через час хороший звук, а я вот, мне, можно сказать, арии петь, «Бориса Годунова» и «Фигаро» одновременно, если по качеству — и нет, то по отдаче трижды — да; а вот как мне в оставшихся шестидесяти минутах собрать себя, Николая и наших виртуозов в кулак, привыкнуть к залу и звуку в зале, походить по сцене и пробно подрывать

ножками и по десятку тактов из каждой арии врубить перед пустым залом?...

Жак чокнулся от сотни бегающих человек, а ведь ему лично следует разобраться с пультом, которого он до того и в глаза не видел. Кто только не достает Жака! Со сцены орут виртуозы, просят звука в мониторы, а он смотрит в точку и ноль реакции.

— Жак, — отвожу его и впихиваю в кресло где-то в девятом ряду. — Жак, слушай меня внимательно.

— Все будет нормально, — отвечает Жак.

— Да, все уже нормально, но послушай, Жак. Ты слышишь? — Жак не слышит. — В конце мой номер с гитарой. «Мужчина — это рок». Да, Жак?

— Все будет нормально.

— Нормально. Ты обещал притащить двенадцатиструнку. Притащил?

Жак не слышит. Я хлопаю его по плечу и предлагаю выпить.

— Выпить хочешь?

До него доходит. Он мотает головой и отвечает со смешком:

— Нет, я не пью. Знаешь, я екнусь сейчас. Ничего в пульте не понимаю.

— А Рыжий? Витю Рыжего посадил? Он-то понимает?

— И он не понимает. Все будет нормально, — произносит Жак и встает из кресла.

— Гитару ищи! — в спину ему безнадежно.

— Гитара. Конечно...

За кулисами тасовка из кучи парней, но больше из девок, которых привели без билетов по липовым спискам артисты за разделенные симпатии. Вот девки и колбасятся тут. В зал уже впускают троглодитов и трендит звонок. Из тасовки возникает Жак с самопальным «Стратакастером» типа «Джипсон».

— Я ж обещал, — говорит Жак, и я примеряю гитару, как примеряют чужой пиджак, когда нечего одеть на

вечеринку и некогда выбирать.

— Ты говорил, — соглашаюсь я.

Жак молодец, хотя я должен играть «Мужчину» на акустике.

В нашей комнате Николай и Петя, а виртуозы, кажется, еще возятся с «примочками». Николай выглядит прилично и говорит:

— Не сходи ты с ума. В нашем возрасте это неприлично.

— Тогда скажи Пете, чтобы доставал из свертка.

— Петя, достань.

Мы так сидим недолго плюс «пепси-кола» из домкультуркиного буфета и уже балагурим, а Николай говорит:

— Главное, чтоб Кира не завелся.

— Хватит и Сереги. Ты прав.

Объявляют в динамике на стене, что пора выползать, и мы выползаем в театральных тапочках, футболочках, джин-сишках и пиджачках, чуть покачиваясь от переживаний, выползаем в тасовку коридора, и я кричу:

— Кира где?

— Я здесь, — возникает Кирилл. — Мой выход.

— Твоя увертюра, Кира. Дай им.

Там сцена желтеет от огня и шум троглодитов. Туда-сюда, объявляют в микрофон, фестиваль, значит, жюри, вот, козырь на козыре, то да се, пару шуточек, свет сжимается, и в полусвет выходит Кирилл увертюрить на клавишах. В полусвете сцены Кира гоняет по клавишам рояля, электроклавишам органа и синтезатора табунок тридцать вторых и шестьдесят четвертых. Заряжает в программу булькающий бас, отбегает на дюжину саженой, а я говорю мужикам:

— Готовность!

Кирилл разбегаются и в прыжке бьет по клавишам кулаком, вызывая взрыв звуков в «Динаккорде», а мы

выпрыгиваем под взрыв клавишей и взрыв троглодитов. Кайф!

Сереха начинает гвоздить «рифом», на восьмом такте набегает на «малые» палочками Николай, а в девятом я запеваю «хит» из прошлого десятилетия:

— Двери свои открой...

Тогда это волновало кайфовальщиков...

— ...Смотри, наши души, наши души летят...

Теперь у Серехи супер-«риф» и супер-«Диннакорд» у всех нас.

— ...На древней дороге, где свет, пыль и мир...

Древняя дорога продолжается, на ней мы в арьергарде времени, и я зря не настоял, чтобы не вылезать с «Древней дороги». Coda! И троглодиты прохладно постукивают ладонями.

— ...На столе стакан, а в стакане чай...

Вперед по древней дороге в пыли, поднятой обогнавшими лимузинами, на скрипучей арбе, на медленной арбе в пыли одиночества и отставания...

— Посидим молча, посидим! Посидим молча!

Coda! И троглодиты, вняв призыву, сидят молча.

Ни ноты молчания. Гвоздят Сереха и Кира «рифом», одолженным у «Куип». Пора уже дрыгать ножками и выколачивать молчание из троглодитов, если не выходит чистым, понимаешь, ли, искусством. И дрыгаю, благо бывший профессионал в смысле ног. Ну и черт с ним! На сцене за успех брата задушишь. Coda! Чуток шума есть и пару одобрительного свиста пополам с неодобрительным.

— Вперед, Сереха!

Мы убегаем со сцены, Сереха один в одиноком белом луче наступает на троглодитов своим виртуозством, и ему мину-сово свистят враги кивков в «хард», но у Серехи не кивок в «хард», они ничего не понимают в виртуозности, им бы только неформально объединиться вокруг все равно чего, и Сереха

«перепиливает» их минусовые свистки, оживляя одобрение, после которого к Сереге присоединяется Николай, Жак и Кира, а мне три минуты отдыха и мыслей: почему не катится и где «драйв»? Почему в пригороде Шушары катилось, а теперь «драйва» нет? Тут не объяснишь — нет и нет. И нет времени разобраться, остановить арбу и на Обочине пикникнуть и лялкнуть под глоток родниковой воды и сигарету. Три минуты, как три копейки, уже в прошлом, а я на сцене опять, чувствую почти, как недавнее прошлое мое стоит за кулисами...

Драматическая, программная моя ария. В ней хотел чистым плачущим к-ристаллом обо всем разом. Без маски, без стеба, без шизовки, без всего того, что обрекает на успех, без теперешнего декаданса, без подкрашенных губ и глазок, кокетничающих с патологией, без всего того, что оккупировало сцену моего любимого жанра, от которого я чесанул много-лет назад...

Припев наступает из соль-мажира в си-минор, в фадиез-минор, в си-минор, как «у попа была собака», по кругу, кайф!

— Слышишь ли хруст в сплетенье ветвей? — Я слышу хруст в голосовых связках, их нет смысла жалеть раз в пятилетку — В этой ли чаше пропасть нам! — Через двадцать минут голос от форсажа сядет, станет першить в горле, но 20 минут будет все равно.

— Сплетенье жизни и сплетенье смертей! В этом городе, как в чаще лесной! — Соль-мажор, ми-минор... по кругу, кайф!... — В этом городе шаг за шагом! Нота за нотой проживу себя-а! Кто мне поможет и кто подскажет, как жить в этом городе, в этой чаще лесной! — Кажется, связки лопнут, словно мачты в бурю, но паруса уже закатаны к реям, и падает голос с хрипящих высот в риторику полусшепота: — Кто там

идет за тобой? — За ним синкопа, как хромая собака, и опять: — Кто там идет за мной? — В полунатяжении, готовясь к броску в третьей части, когда голос с Серегиным «рифом» в одну дуду станут заполнять четверти си-минора и ми-минора, спотыкаясь на фа-диезе, а я поперек гагга программно завою: — Спаси меня («риф» и подпевка унисоном), спаси! — пропускаю четверть, догоняю фоновым речитативом: — Так надо, да! («риф» и подпевка унисоном) — В этом городе кто поможет мне! — спотыкаюсь на фа-диезе и обрываюсь полукатарсисом в наступившей code...

Остальное помню только в общих чертах. Я дрыгал ножками и изображал тупое фуэте. Болело плечо, натруженное топором, и спина, офигевшая от бревен. Я дрыгал ножками, крутил фуэте, поглядывая, как Николай колотит, и переврал несколько раз слова, смазав две соды.

Странно, но теперь между залом и рок-артистами отношения довольно враждебные. С неформальными объединенцами надо заигрывать, и с ними заигрывают те, кто работает в рок-н-ролле профессионально. Слава богу, мы не работаем профессионально, и, слава богу, в фестивальной зале фифти-фифти неформальных объединенцев и знакомых зрителей, последние и оживают назло неформальным объединенцам, и стучат ладонями уже в нашу пользу...

Нарочно всех ругаю и прославляю себя, побрякивая на «Стратакастере» типа «Джипсон». Мужики отвалили со сцены на пока, и теперь мой сольный номер. Нестандартно долго всех поименно ругаю и хвалю себя, и только под завязку выбегают мужики, и в последнем припеве, когда я хрипло декларирую уже и себе надоевшее «Мужчина — это рок!» — обозначают мужики контрапунктом «Барыню», а я сбрасываю с плеч «Стратакастер» типа «Джипсон» и лечу па авансцену, где меня поджидают кирпичи. Гвоздь, одним словом,

программы. Троглодиты уже не рычат па пас, п я, чтобы закрепить в их яичных мозгах родившуюся доброжелательность, поднимаю первый кирпич..:

Время снова остановилось. словно в гонке преследования, балансирует перед броском на месте. Есть еще время одуматься, но нет смысла...

Кирпич новенький такой — фиг подумаешь, что сломан. Шмяк! С размаху о колено, поддельно разбиваю разбитый, и неуправляемая половина летит в зал, в первый ряд, задевая заслуженную певицу эстрадного жанра, оказавшуюся там по большому благу, а вторая половина попадает в усилитель «Динаккорда» и гасит в нем лампу. Ломаю второй кирпич, рву на себе футболку — ух! мужчина — это рок! — и убегаю за сцену. Можно было просто натащить кирпичей груды, а не репетировать музыку полгода неизвестно зачем.

— Крутой кайфовый попс! — такого более знакомые троглодиты не говорят, только многозначительно хмыкают за спиной, а в газете «Смена» через неделю читаю:

«Открывала фестиваль группа „Город“. В ее составе мы увидели Владимира Рекшана — живую „реликвию“ ленинградской рок-музыки. Жаль, постоянные гитарные „запилы“ и невыразительный вокал не позволили Владимиру Рекшану донести до зрителей свои интересные тексты».

Осенью в Рок-клубе ходили по рукам бумажки, сочиненные тамошними мыслителями, и в них Саша Старцев, главный мыслитель, похвалил этак ненавязчиво:

«Группа „Город“ была с ностальгической теплотой встречена теми, „кому за тридцать“, и с глубоким недоумением -молодежью. Дело в том, что руководители „Города“ — Владимир Рекшан и Николай Корзинин — в прошлом являлись организаторами первой в Ленинграде русскоязычной группы „Санкт-

Петербург“. Это было еще в начале семидесятых, легенды об этих сказочных временах передаются из уст в уста и по сей день... Рекшан неоднократно предпринимал попытки „камбэка“, и в этот раз все, казалось, должно быть удачно: Корзинин на барабанах, „Жак“ Волощук (экс-„Пикник“) — бас, блестящий гитарист Сергей Болотников, да и сам Рекшан в неплохой форме.

Но что-то не сложилось. Хотя рекшановские тексты — одни из самых интересных, они совершенно русские, а нежелание «Города» становиться в позу «героя» мне глубоко симпатично. Но для Рекшана это хобби. А хобби есть хобби. Результат — неполная отдача на сцене... Так что, увы, все шоу «Города» смахивало на пышную свадьбу, где возраст невесты исчисляется седьмым десятком. «Горько»! И обидно».

Иду в ледяных сумерках вдоль пирса, вдоль заборов и кирпичных зданий к вокзалу. В электричке тепло и дурно пахнет. Мне ехать почти час, дремать и зевать. В безделии часа и зевоте я вспоминаю, как в семьдесят четвертом, развалив «Петербург», Николай, Витя и Никитка полетели, закусив удила. Они стали первыми номерами среди концертирующих перед рок-н-ролльными люмпенами и два сезона поддерживали кайф на высшей отметке, пока не оказались в Красноярской филармонии, куда их заманили пресловутым длинным рублем. Ох, намерзлись и наголодались они там, как рассказывал Витя, обжиленные в итоге должностными филармонистами. Их наняли в «чесовую» команду подыгрывать певцу-махинатору, и высшая отметка их кайфа не канала вовсе в тамошней филармонии. После «Колокол» перевоплотился в кабацкий бэнд и сперва успешно «карасил» в гостинице на Чегете, куда съезжались околоторнолыжная публика. Там мужики отхарчились

на «карасях» и привыкли к сытой жизни. «Караси» присылают за персональный музыкальный заказ; он стоит пять или десять рублей, и, случалось, «карасей» за вечер хоть пруд пруди. А местные кавказские жители расплачивались анашой. У них анаши больше, чем денег, хотя и денег навалом.

Тогда мужиков и накрыли случайно. Приехали серьезные люди и нашли в джинсах у Вити «масть». Серьезные люди приехали разобраться по поводу предыдущего кабацкого бэнда, через который в Ленинград шли крупные партии «масти». Витя выезжал в Ленинград отнекиваться и отделался в итоге легким испугом, но «караси» на Чегете шли и шла «масть». Никитка закайфовал серьезно и сел на кокнар, а теперь вот — на полтора года. Он был уже на кокнаре, когда его пригласили в Москву работать в известном, а теперь так и просто маститом рок-профоркестре. Он там здорово поиграл на скрипке и гитаре, вернувшись после в Ленинград с короткой славой и без единого гроша. Он мне показывал при встрече венгерский музыкальный журнал, на обложке которого он красовался в полный рост с «Телека-стеромч» наперевес. Внизу обложки, в ногах у Никитин, помещались небольшая фотография «Лед Зеппелин».



Мне час почти ехать до города и, вспомнив Никитку, я стал думать о тех, кому кайф рок-н-ролла вышел боком. Н-да, здесь мы, похоже, вышли на уровень мировых стандартов.

Я вспоминаю Валеру Черкасова из группы «За», его толковые суждения о музыке и суждения вообще, и то время, когда он решил не писать диплом в Университете, а стал «дышать» пятновыводителем. Была такая у рок-люмпенов мода, и мне тогда это казалось смешным. Но вдруг я узнал, что Валера пытался покончить с собой: взял два скальпеля, упер в стол и уронил на них голову, стараясь попасть скальпелями в глаза. Он не умер, даже уцелел один глаз, но не уцелел разум. Он сам хвастался диагнозом: параноидальная шизофрения. Он стал страшен в общении, словно черные щупальца безумия душили тебя в его присутствии. Говорят, он пытался переложить на музыку Конституцию, озвучивая ее двумя аккордами параграф за параграфом и записывая на магнитофон. Через несколько лет он умер на кухне своей однокомнатной, жарким летом, умер в одиночестве, и пришлось жильцам ломать дверь —

страшный запах разложения проник в соседние квартиры.

Пусть не многие так «кайфовали», но зато с лютым российским упорством. Несколько лет назад умер Александр Давыдов из популярных «Странных игр». Несколько отличных музыкантов отсидело за «кайф» сроки. Добрый мальчик с мягкой улыбкой, приличный поэт, сочинявший тексты для Николая, попался в милицию с двумя граммами «пластилина». Отделался легким испугом условного срока. Мальчик проскочил зрелость и стал похож на старичка.

Да и без «кайфа» кайф рок-н-ролла поразбросал и покосил многих. Российское наше лютое упорство!

Жора Ордановский лет десять упорствовал, пока его «Россияне» не стали в начале восьмидесятых первой рок-группой города. В январе восемьдесят четвертого Ордановский пропал без вести (в мирное-то время!), и недавно в Рок-клубе провели концерт в его память.

Был у Вити Ковалева приятель, друг детства. Тоже Жора, тоже, как Витя Ковалев, мастеровой, с выразительным лицом парень и крупными рабочими руками. Тот Жора очень любил «Дип Перпл». Он так любил «Дип Перпл», что изловчился жениться на английской девице и уехал в Англию, чтобы ходить на концерты «Дип Перпл». Ходил, наверное. Приезжал через несколько лет, привез Вите Ковалеву «фирменные» басовые струны. Сидел у Вити на кухне и молчал. Лишь сказал, что работает садовником. И все. Витя Ковалев говорил, будто у английского садовника Жоры такие руки, такие мозолистые и натруженные, что руки нашего тракториста по сравнению с его, Жориными, сойдут за холеные руки пианиста или фокусника.

А Мишка Марский, да-да, Летающий Сустав, умотал то ли в Бостон, то ли в Чикаго. И умотал, свинья, даже

не попрощавшись.

Я бы мог много вспомнить разного и страшного, на целую повесть! Но электричка уже тормозит возле платформы Балтийского вокзала, и пора вспоминать, для чего я, нарушив трудовую дисциплину, оставил кочегарку и прикатил в город.

У меня в трудовой книжке имеется выдающаяся запись: «Руководитель семинара по рок-поэзии». Работай я в Собресе, за такие записи не начислял бы пенсии. А мне и начислят, поскольку никакой рок-поэзии и нет. Однако осенью восемьдесят четвертого я заключил с Домом народного творчества договор, по которому обязался обучать слушателей семинара этому несуществующему ремеслу.

На общеклубном собрании торжественно объявили о начале работы семинара, и в ближайший понедельник в скромной комнате меня поджидало человек тридцать. Аудитория представительная. От квазихиппи до резких мальчиков в черных кожанках с бритыми макушками. Троглодиты, олухи царя небесного и неформальные объединенцы — так расписал их мысленно по сословиям. Я хоть и полный георгиевский кавалер рок-музыки, но предстоящее меня волновало. Я прихватил гитару и побрякал олухам перед разговором, как бы давая понять, что я свой. Свой не свой, но работа началась. Но ведь это невыносимо трудно заниматься тем, чего нет! Сперва я пытался вести разговор в торжественно-академическом стиле и несколько распугал немых рокеров ам-фибрахиями и контрэже. Работать приходилось в потемках, методом тычка; тыкаясь так, я набрел на «Поэтику» Аристотеля и стал плясать от «Поэтики», как от печки. Получилось ненавязчиво и весело. Немые рокеры приносили сочиненные тексты, распевали их под гитару, а мне приходилось каждый раз устраивать представление,

дабы, ругая услышанное, не тревожить революционных рок-н-рольных чувств и не заслужить обвинений в конформизме. За достижение почитаю разоблачение плагиата в творчестве одного троглосеминариста. Подправленный до народного ума текст Гумилева выдавался за свой.

Стиль вроде был найден, дело двигалось, но как-то пришли трое вежливых таких, в кожаных курточках, с челками, внимательными взглядами и полуулыбками. С магнитофоном пришли и вежливо слушали мои разглагольствования, а в перерыве один спросил:

— Мы хотим показать и обсудить тексты.

Настроение у меня было приподнятое, я только что удачно шутил и разделялся с троглодитскими сочинениями.

— Что ж, давайте тексты. А группа как называется?

— «Труд».

— Оригинальное название! У вас и запись есть?

— Да, — отвечает подошедший, а те, что с ним, уже прилаживают к розетке магнитофонный провод.

— Что ж, давайте тексты, — повторяю.

Мне протягивают картонную коробку от бобины, на которую наклеено «Труд», — вырезанное заглавие всесоюзной газеты, и несколько газетных информации.

— А где тексты?

— А вот. Мы исполняем уже опубликованное, и хотелось бы залитовать. Ведь опубликованное литуют сразу, да?

Немытые рокеры (конечно, они мытые — просто я так привык их про себя звать) собрались слушать. Бобины закрутились, из динамиков полетели смутные звуки — выкрики, бряканье нестроющих гитар, а я стал вчитываться в опубликованные тексты. Одна информация говорила о том, что неподалеку от Бонна собрались неонацисты на очередной шабаш, то, да се, и, мол, неонацисты активизируются. В «музыкальном»

варианте смысл выворачивался наизнанку, и доходил до слуха лишь многократный рефрен, исполняемый под стук пивных кружек: «Неонацисты активизируются! Неонацисты активизируются!» Дальнейшие композиции развивали тему. Немытые рокеры веселились, приняв все за шутку, а я растерялся... Я родился через несколько лет после войны, а они после первых полетов в космос. Мы вроде говорили про одну музыку, про «Битлз», «Стоунз», хард, реггей и прочее, но принадлежали, получалось, к разным цивилизациям. Я не мог шутить над такой... музыкой будет сказано неправильно... а они шутили, а эти трое еще и сочиняли такое. Немытые рокеры, эти в основном славные олухи, троглодиты, объединенцы и девушки, искренние в своем неосмысленном до конца несогласии с ложью и жестокостью жизни, они ждали моей реакции, представляя, видимо, как я стану возмущаться и буду нелеп в клокочущем гневе. Я же хотел; не возмущаться, а набить хари молодцам из «Труда», спустить их по лестнице, чтобы отбили они свои скотские: мозги... Но это было бы поражением, и я не набил им хари за провокацию, за Джона Леннона, за мою минувшую юность. Нет, я не проиграл, но и не нашел путей к победе.

— Вы их залитуете, да? — Трое вежливых в курточках, смотрели с полуулыбочками. — Ведь опубликованное литуют сразу, да?

— Да, — согласился я и не проиграл, — это опубликовано... Но ведь есть авторское право. И я залитую вам; тексты, если вы принесете согласие авторов заметок на исполнение, — но и не выиграл.

Курточки застегнуты, магнитофон собран, ушли без улыбочек и даже без полуулыбочек, но и мне не до смеха.

Руководство Дома народного творчества посчитало, что» условия договора я выполнил, и со следующей осени семинар продолжился. Решил так: пусть немые рокеры учатся стройно высказываться по поводу рок-музыки. Учась высказываться, они разберутся с мыслями, а разобравшись с ними, научатся стройно высказываться на бумаге, то есть сочинять, слова, если нейдет, к музыке рок. Но немые рокеры — бу-бу, в кайф, не в кайф — рассуждают робко и коротко. Удлинять беседы приходилось мне, и к концу второго сезона я наострился рассуждать о рок-н-роллах пространно и красиво. Хоть с закрытыми глазами, хоть посреди сна или, любви, оторви меня от гуманитарного моего дела, от борща, в парилке к голому с веником подойди, и, отдышавшись, я скажу:

— Уже много лет разрушается национальное музыкальное мышление у россиян, и можно определенно сказать, что у теперешнего поколения его просто нет. Поставьте в ряд мальчиков разных национальностей и попросите спеть. Всякий, республиканский мальчик споет национальное, а российский. мальчик споет про крокодила Гену...

Если после бани, борща, любви, сна дать собраться с памятью, я докажу это примером из собственной жизни. Мы уже не мальчиками оказались во Франции. Нам уже тукнуло по восемнадцать, и на банкете мы уже могли хватануть винца. На банкете французы горланили хором общие свои песни, вдруг смолкли, предложив нам, из России, спеть. Нас оказалось человек шесть из команды в боковой от главного зала комнате, и нам очень хотелось спеть им так, чтобы... Но проще с гранатой под танк! Будет уместным сутрировать ситуацию до кощунства! Мы не знали полностью ни одной песни! Очень, до дрожи хотелось спеть им так, чтобы... Спели «Калинку». И в ней мало что помнили, кроме «в саду ягода малинка, малинка моя».

Собственно, «Калинка» — не народная песня, а стилизация, так что позор на наши головы.

— Из чего складывается национальное музыкальное мышление? — начну я вопросом, если уж начну высказываться. — Я не теоретик, конечно, но думаю, подобное мышление складывается из религиозной музыки, которую человек слышал и исполнял в церкви или на улицах во время религиозных шествий, и музыки бытовой, самосочиненной, что сопровождала россиянина от рождения до смерти, называемой условно теперь народной... Церковь отделили от государства, и атеизм — стержень нашего мышления. Так! Но почему прекрасную церковную музыку отделили вместе с культом, вместо того чтобы переправить ее на профессиональную сцену и оставить в сознании. Видимо, страшно, что проскользнут в памяти слушателей отдельные малопонятные им церковнославянские слова. А западную религиозную музыку можно. А Бортнянского нельзя... Бытовая же народная музыка осталась в сельской местности, да вот из сельской, местности почти все уехали в города. Бытовая народная музыка погибла вместе с прежней полупатриархальной деревней...

Говорю как человек сугубо городской: в наших головах музыкальный вакуум, его заполняют восемь с половиной композиторов и пять с половиной поэтов-песенников. И они не виноваты в этом. Почему и не сочинять песни за тысячи рублей авторских отчислений? В век стандартной еды, одежды, мыслей мы стандартно поем про крокодилов, дино-завриков, кашалотиков, дельтапланы, каскадеров, виндсерфинг, много про что поем, про то, что лучше бы и не знать... Но тысячи и тысячи рублей в наше танцующее и кайфующее-время стало возможным заколачивать и на отечественном роке, так что и российский рок почти раздавила холодная машина стандарта...

Помню, был влюблен сокровенно в девушку, страдал. Увидел через несколько лет случайно и узнал, что пошла она по рукам...

Ах да! Два сезона мучил и раздражал семинар некто Д. С выбритым пробором, отутюженный, всегда в галстук, как комсомольский секретарь, поэт постпостсимволистского толка, прибился случайно с напором жениха. Рвался писать манифесты и декларации, несколько раз предлагал свергнуть меня и назначить его. Что-то в этом роде. А третий сезон начали без Д. Он исчез. Наверное, его жениховский напор увенчался успехом в естественном направлении.

У меня набралась полная авоська рок-н-рольных виршей, сгоряча я стал проводить изыскания по семиотике рока и кажется, нащупал контуры знака новаторства и знака вто-ричности, проследив для се15я, как новаторство оборачивается вторичностью спустя десятилетие. Слово прошлогоднюю солому корова, так начинающие немые рокеры дожевывают «сны», «свечи», чертовщину и мистику, дзен, медитацию, наркотики.

«Век информации. Мир растворен в газетных столбцах. Хочется петь, но губы зажаты в тисках», потому что «жалкая пародия на „Homo sapiens“, „нагим ты с рождения упал в нирвану“, „эти стихи мне нашептывал демон“, и „я хочу, чтоб путь познания был долог“, чтобы „уйти прочь с наступлением рассвета“, хотя „гордый демон на стоянке такси спрячет крыло под серым плащом“, так что в итоге „смотри на мир сквозь цветные стекла, пока часы не пробили полночь“. Такой, так сказать, круговорот личности в природе. Такая путаница. Такая каша в голове. Гречневая наша, российская каша рок н ролла.

Но ведь они хотят высказаться, они неловко прорываются сквозь чащу родного наречия...

Все может быть, пусть даже дзен и медитация, черт с ними, но не может быть наркотиков. Как им объяснить, как рассказать о черных щупальцах безумия? Хорошо, что пока метафорические наркотики у большинства. Сколько уже рокеров подохло от таких метафор, ставших былью! Ведь это тулупчик с чужого плеча, а точнее, джинсишки с чужой задницы, а примеривать джинсишки с чужой задницы — нет, это не талантливо.

Запад! С Запада к нам пришли все основные виды цивилизованного искусства — балет, станковая живопись, поэзия, роман. Теперь пришел сверхцивилизированный урбанистический рок. Но раньше, что бы ни происходило, не касалось неграмотного большинства. Раньше рывок цивилизованного искусства был узок и не было стандартов массовой культуры. Пришел Байрон, а стал Пушкин, пришел аббат Прево, а стал Достоевский. Дело не в примерах! Дело в том, что были «Битлз», а приняли «Бони М», был Джими Хендрикс, а приняли «Модерн Токинг». БГли великие рок-артисты, а навязывать стали стандарт эротики и звуков. А по собственным росткам национального рока прошлись тяжелыми сапогами глупости. Но теперь зачесали в макушке, и, пропустив за последнее десятилетие через профсцену всю пошлятину доморощенную и «уцененку» рока «забугорного», замордовав в прессе Шевчука из «ДДТ», Науменко из «Зоопарка», Гребенщикова из «Аквариума» и прочих разных, проросших на гибельных наших суглинках и болотах, проснулись вдруг, выдернули из: равноправной грядки «Аквариум», и чистят, приглаживают, причесывают, шелушат ботву, готовя к употреблению Гребенщикова как поп-звезду самопального свечения... Но дело-не в «аквариумах» конкретно. Дело в массовой глупости или трусости проявить ум...

Смотрю передачу: гонят рок-номер, после его обсуждают должностные лица, сидя в кресле, — так да сьяк; гонят еще рок-номер и опять рассуждают. Неплохо так рассуждают, а вот в рок-номере на всю страну рок-мальчики пели про то, что, дескать, «трава», она туда-сюда, моя любовь к тебе, она больше или меньше любви к «траве» и прочая, и прочая... «Трава» — это марихуана, анаша, гашиш. Это каждый знает. А каждый третий из тех, кто знает, курит. А знают ли те, кто в креслах? Не знают? Нечего тогда сидеть в креслах и заниматься тем, в чем не рубишь...

Сколько-то лет назад удивился, когда понял, как поперла в средства массовой информации поп-культура. Затем вместо удивления пришла уверенность: это все враги шуруют! хотят нас изнутри взорвать! А теперь думаю-какие враги! Дураки! С нами в идеологии воевать не нужно. Главное, дуракам не мешать — они нас в итоге изнутри и взорвут...

Ладно!

Уже третий сезон я обучаю троглодитов, олухов царя небесного, неформальных объединенцев и девушек.

Мы с Николаем не предавались на сцене каннибализму, и успешным наше концертное выступление можно назвать с натяжкой. Но все-таки, если шибко захочешь, просто стать звездой рока, если был ею раньше. Этому не научишь. Это — где-то в печенке, поджелудочной или предстательной железе.

А как им хочется! Как бы им объяснить, что имеются занятия в мире и понадежней!

Как— то не так на небе расположились звезды, и порядочный семинар превратился неизвестно во что. С каждым разом все больше пролетариев рок-труда забредало на занятия. Особенно после того, как перед ними сильно выступил кудрявый талант из Новосибирска -Наумов. Сильный гитарист,

словообильный и торчковый, клевый, кайфовый автор текстов. И правда, да-да, все очень сильно, но опять это заигрывание с наркотиками в текстах... Пусть торчково, кайфово, клево сделано, но — не надо. Ведь метафора искусства кончается могилой жизни. Но как объяснить? И кто объяснит мне, почему в Ленинграде наркотик приобрести легче, чем туалетную бумагу?

В ноябре прослушивали трио «Зря». Троглодитов и остальных набилось человек с пятьдесят, и собственно обсуждение оказалось сорванным. Трио «Зря» медитировало. Это мы знаем — медитация. Такая штука. Аккуратная музыка, а кайфа нет, потому что нет «драйва». «А без кайфа, — говорят рокеры, — нет лайфа». Так и решили голосованием. А в конце декабря пришел Фрэд. Есть такой человек. Не хочу вспоминать, но вспоминаю Валеру Черкасова, когда встречаю Фрэда. Он долго приставал, просился выступить на семинаре. Мы договорились. И в конце декабря пришел Фрэд на занятия, и вместе с ним пришло сто человек неформальных объединенцев, настолько неформальных и настолько объединенцев, что мои олухи, троглодиты и девушки забились по углам, а пришедшие с Фрэдом валялись на полу, курили, входили и выходили, и плевали на руководителя. А Фрэд... Унты стоптанные — на каблуках, рваные джинсы, волосня с перхотью ниже плеч, и глаза в разные стороны. Бледное серое лицо и высокий гадкий бесовский голос мучает блюз:

Свобода есть, свобода гтить,
свобода!
Свобода спать
с кем хочешь из народа...

или

Я — бич, бич!.

Автостоп, хипповые прокламации про то, как он, такой-сякой, не так уродился, и прочая антимилитаристская окрошка с психоневрологическим уклоном.

Всего с час бесовских игр, завораживающих, затягивающих в черную воронку без дна.

Для того я и нарушаю трудовую дисциплину кочегара, чтобы на улице Рубинштейна встретиться с троглодитами и девушками в скромной аудитории. Я иду от Владимирской по Загородному. Витрины магазинов занавешены льдом, и прохожие в меховых, шерстяных драпировках спешат, не глядя друг на друга. Но и радужную надежду вселяют холода. — может, разом, словно динозавры давно, вымрут в городе «панки» и иже с ними, разгуливающие в ледяном январе без шапок?

Действительно холодно. Я надел на себя все, чем обладаю из одежды, но все равно приходится передвигаться почти бегом. И слава богу — я ведь опаздываю. Опаздываю всю жизнь. Где-то ведь на пирсе в Ораниенбауме огонь в топке моей занимается все сильнее, превращаясь в новую субстанцию огня-флогистона, и хотелось бы успеть вернуться до того, как перегорит уголь, улетучится в пространстве тепло, а холод заморозит воду в трубах и разорвет трубы льдом, приговаривая ту часть меня, ведущую топкой, к ужасным дисциплинарно-административным карам.

Протискиваюсь в тугую дверь и поднимаюсь по сумрачной, скучно освещаемой лестнице. На втором этаже смолят никотин олухи, троглодиты, объединенцы и девушки.

— Здравствуйте, — я говорю, а они нестройно:

— Здравствуйте, — а девушка посмелее:

— Вот и учитель воскресной школы, — говорит, а я:

— Правильно,-соглашаюсь. — Фрэд, зараза, нас чуть не угробил. Воскрешать пора.

Прохожу в коридор, а из коридора в аудиторию.

— Здравствуйте, — говорю тем, кто в коридоре и в аудитории. А там все те же — олухи, троглодиты, объединенцы и девушки.

— Здравствуйте, — отвечают мне.

Раздеваюсь, грею возле батареи руки, жду, когда все накурятся, рассядутся и затихнут.

Они рассаживаются и затихают. Человек тридцать все-таки есть. Я хочу собраться и рассказать, как рассказываю и рассуждаю последнее время. Ведь в смысле души мы сейчас возле в который раз разбитого корыта, или, точнее, перед развороченной кладкой, разволоченной на кирпичики, хотя который раз строили на века. Да получилась нелепость. Но кирпичики-то целы, и все-таки стоит строить здание нового самосознания, в котором жить нам и нашим детям с рок-н-роллами там или без. Ведь вы, девушки, родите детей, может, от олухов царя небесного и родите, и те дети родят себе других детей... Но нет, я долго шел к таким рассуждениям и неизвестно куда еще пришел.

— Ничего себе маевочку нам в прошлый раз Фрэд устроил, — говорю.

— В кайф! — смеются в ответ.

— Да, но я не хочу, чтобы меня выгнали с работы. Такая запись в трудовой книжке погорит!

— В кайф! — смеются в ответ.

— В кайф-то оно в кайф, но сегодня все тихо, мирно и занудно. У кого слабый мочево́й пузырь, прошу сходить облегчиться. Перекуров не будет. Я сегодня вам мемуары почитаю. Свои! Избранные места почитаю, так сказать, в педагогических и честолюбивых целях. Я волнуюсь, однако!

Публика молодая, ей бы пошуметь, она и шумит.
— Ти-хо! Эй!

За моей спиной рояль. С оборота бью в до-мажор двумя руками. Олухи, троглодиты, объединенцы и девушки затихают. Жаль, что мухи спят до лета, а то был бы слышен их полет. Я достаю папку с листами и раскладываю их перед собой, шуршу ими, откашливаюсь, вспоминаю неожиданно все, словно жизнь — это не смена лиц и мест, словно происходила она сразу, словно на битловском «Сержанте» возникают люди, люди, люди, цвета и даже запахи, терзания и ревность возникают будто впервые, ненависть, наивность и честолюбие юности, друзья и ссоры с друзьями, враги, пинки, и то, что неожиданно открылось в звуке, что помогло выжить в юности, может, это самое трудное — выжить в юности и дожить до того, что называется человеком; я откашливаюсь, беру верхний листок и глухим, чужим каким-то голосом начинаю:

— В июне тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года мне исполнилось восемнадцать лет.

CODA

Заканчивается повесть, но продолжается жизнь. Весной восемьдесят седьмого освободился Никитка, и мы встретились у него возле рояля: Никитка, Витя, Николай и я. Очень давно я не виделся с Никиткой и сперва просто не узнал в рослом и дюжем мужичине давешнего юношу со скрипкой.

— Круто, мужики, круто сети-то плести. — Там Никитка не мог выполнить каких-то норм по плетению сетей, но сторожа узнали о былом сотрудничестве Никитки со Стасом Наминым и с сетей сняли. — У нас такой крутяк, такие гитаристы сидели, — говорит Никитка, называя группы и фамилии артистов.

— А у меня рассеянный склероз, — с усмешкой жалуется Витя. — Видели, как ногу волочу? Белое пятно в медицине. Четыре месяца в больнице — ноль. Онемение членов!

— Инвалид рок-н-ролла, — говорит Николай.

— Жертва безудержной юности, — говорю я.

Мы сидим возле рояля и вдруг договариваемся выступить на рок-н-рольной маевке Коли Васина, который — жив, жив курилка! — ангажировал под это дело ДК железнодорожников.

И зал неожиданно аукнулся довольным воем.

Лето же началось очередным фестивалем в комсомольском Дворце молодежи, на котором «Петербургу» позволили заместить инвалидную вакансию. В пределах ее мы и порезвились, как пятнадцать лет назад, — Никитка порвал четыре струны, я почти порвал голосовые связки, а Николай — казенные барабаны. Даже Витя пытался совладеть с рассеянным склерозом. Могло получиться и хуже. Даже

и так нас приняли на ура, но главное, что с нами, нет, рядом с нами, был Никита Лызлов.

Катапульта перестройки забросила его в кресло зама ген. директора по науке некоего объединения, в котором он, дай бог, защитит докторскую, и теперешняя масть не позволила ему появиться на сцене, но все-таки он был рядом — бегал за струнами для Никитки, когда тот рвал их, щелкал фотоаппаратом на память.

За неделю комсомольско-рок-н-рольного мероприятия на Петроградской стороне выпили все плохие кислые вина и за-комплексовали тамошнюю милицию, которой, похоже, в условиях проснувшейся демократии предложили особо руки кай-фовалыдикам не заламывать, но быть начеку. Хватательный рефлекс у милиции, впрочем, в крови, поэтому постоянно кого-то задерживали, и постоянно кого-то отпускали. Всех моих знакомых задержали по разу, Президента Рок-клуба задержали и отпустили, меня и самого стоило задержать и отпустить, но тут на комсомольскую сцену стали забираться панки. Шведо-канадские дипломаты забегали с видеокамерами. Первые панки поливали зрителей из кислотно-пенного огнетушителя и «погасили» заодно пару усилителей «Динаккорда» на полторы тысячи золотых рублей, вторые панки обтошнились все перед концертом и матерились в микрофон, третьих панков пытались побить металлисты из Пскова, одетые в настоящие кольчуги, и возле сцены началось побоище... Все-таки была и музыка. Был Шевчук, был и Науменко, и Борзыкин, иногда было в кайф. Была и гласность. По стенам раскатали куски обоев, и каждый мог выразиться письменно. И выражались.

Эти сатурналии, эти ипотезы, эти гестрионско-скоморошьи дела изучались старательно хорошими ребятами из комсомола. Они могут еще три пятилетки

их изучать и не понять ничего, если не уяснят себе гносеологическую сущность сего базарно-смехового, эротическо-языческого, существовавшего всегда под иными личинами, социально-громоотводного явления, нашедшего основу в африканском примитивном пещерном ритме.

Впрочем, о дадзыбао-обоях. Мне удалось умыкнуть ту их часть, что касалась «Петербурга». Для того мы и собрались через пятнадцать лет, такого сам не придумаешь, а ведь как-то надо заканчивать повесть. Откликов оказалось достаточно, и не очень обидных, а сверху резким почерком чья-то восторженная рука начертала: «Бэби, я обторчался вчерняк!»

Вот она — жирная черта итогов, дебет и кредит рок-судьбы. «Бэби, я обторчался вчерняк!» На этом, собственно, можно и ставить точку. Но я все-таки поставлю многоточие...

UNDERTURE I. В ПОЛНЫЙ РОСТ

Весна все-таки вступила в май и на марсианской почве дворового колодца, там, где двумя скамейками и полоской земли подразумевался сквер, поднялся subtilный пушок травы. Уже кисловатый запах помойки предсказывал близкое лето, кошки скакали по двору, а гиперсексуальные юноши в сквере брэнчали на гитарах до полуночи.

Мы сидели с Олежкой в комнате, не зажигая свет, и молчали, поскольку давно сказали все, что собирались сказать друг другу, и поэтому даже часть из того, чего говорить не стоило. Молчание наше было, однако, относительным — ведь Олежка повторял каждые пять минут:

— Может оттянемся, Саша, а? Что так молчать? Я бы оттянулся, — а я отвечал:

— Какая оттяжка! Ночь, Олежка, уже ночь.

Но пробили куранты, затихла гитара, и я согласился:

— Ты знаешь тут кого-нибудь? Где тут у вас бутлеры?

— Да на «фонарях», Саша, круглые сутки и в полный рост.

Мы прошли по коридору мимо соседской двери, вышли на лестницу и вызвали лифт. Тот гулко пополз вверх, остановился. Кабина освещалась яркой лампочкой, а над клавишей вызова гвоздем некто нацарапал фаллический символ петербургских парадных — эта народная графика въелась мне в мозг с детства.

Мы вышли в ночь, и Олежка сказал:

— До исполкома дойдем — и налево по Майорова. Пять минут хода, всех-то дел.

— Думаешь, получится?

— Эк ты даешь — это же «фонари»!

Темная махина исполкомовского дворца глядела на пустынную площадь, на скачущего от него к Исаакию императора Николая, на гостиницу «Астория», возле которой собирали урожай валютные девки. Дворец охраняли двое сержантов. Они закурили, лениво оценили нас и забыли. Олежка кивнул в сторону «Астории» и сказал:

— В чем вопрос тасовки — не понимаю. Нас давно купили с потрохами. Лучшие бабы — и те не нам. Лес, рыба, Большой театр. — Он стал на ходу зажимать пальцы. — Все уже продано в полный рост.

— Сколько можно говорить об одном и том же?

— Сколько! Хоть поговорить-то!

Мы вышли на Фонарный переулок, и Олежка велел подождать возле бани, а сам быстро пошел туда, где на соседнем перекрестке маячили тени.

Я ждал долго, но вот из темноты появилась белая куртка Олежки, и он уже говорит мне полусшепотом и чешет, чешет запястья, шею, подбородок:

— Есть три сухого по четыре. А у нас сколько?

— Кончай чесаться, не в кайф, — говорю я.

— Это же дерматоз такой. От нервов! — обижается Олежка.

— А ты не волнуйся — у меня десять рублей есть.

Он добавляет два рубля, возвращается в темноту на перекресток, и я опять его долго жду, а после:

— Все в порядке, Саша, это же «фонари».

— То-то и видно, что такой мрак.

Мимо императора, мимо «Астории», мимо жизни, неподвластной исполкому, мимо изнывающих, застоявшихся сержантов идем к Олежкиному дому, парадной, лифту с фаллической графикой... Возле лифта в заплеванном аппендиксе сплелась в объятиях парочка.

— Видал, как он ее мацал, а! — говорит Олежка, пока мы поднимаемся, и начинает чесаться.

— Да не чешись ты! И так весь коростой покрылся, -говорю я.

Мы проходим в комнату, и Олежка зажигает свет. У него полупустая комната в двадцать метров. Над раздвижным диваном две большие фотографии детей, с которыми не дает ему видаться прошедшая жена. На столе сахарница и засохший хлеб. Олежка жадно срывает пробку, а я подвигаю фужер и рюмку. Пить не хочется, но и домой не хочется, не хочется ничего.

— Столовое, — говорит Олежка, — рупь семьдесят.

— Дрянь, — говорю я. — Его с мясом надо.

— Мя-со, — протягивает он. — На «фонарях» в винном всегда и бормотуха есть. Они полмашины скупят, а ночью оттягивают всех. В полный рост.

— Рядом с исполкомом.

— Кому Указ не указ, тому толкаться у касс. Или у бут-леров без очереди. Как на рынке — надбавка за качество обслуживания. А утром на опохмелку и стаканами продают.

— Понятно. Тут зачешешься.

Он и зачесался. Чешется, чешется снова, не обижается теперь, а говорит вдруг:

— Плевать на все. Я еще, может, и гитару пропью. Так пропью, чтоб не осталось ничего.

— А Корзинин как же?

— А что Корзинин? Нормально. Задолбали все.

Он срывает пробку с другой бутылки.

— Если так будешь пропиваться, так это у меня ничего не останется.

— Да брось ты жаться, — говорит Олежка.

Пить не хочется, но уже нравится. Не хочется и лень глотать кислятину, но уже приятно понимать, как вино, сгорая в тебе, оборачивается теплом и смягчает мысли. И уже хочется говорить., все равно о чем.

— А соседи как?

— Тихие соседи. Ребенок иногда плачет, а так — нормально, на мозги не давят. — А когда выпьешь?

— Нет, не давят. Он же сам того, ширяется, а она — кет, никогда, точно знаю.

Словно подтверждая сказанное, за стеной тихо всхлипнул ребенок, после по коридору кто-то прошел на кухню, полилась вода из крана, с шумом разбиваясь о раковину. Затем все стихло.

— Ты сам видел?

— «Машину» видел случайно. Глаза его видел... Что ж, я и не разбираюсь! Он неделю поширяется, на пьянке переломается, а после держится несколько месяцев. По-моему, должен скоро начать, а может, и начал.

Олежка кривит усмешкой губы, а вообще-то, черты лица у него правильные. Это теперь оно у него вечно в пятнах, вечно изодранное на висках ногтями, волосы же редкие, белесые, торчат куцым ежиком.

Олежка пытается включить магнитофон, который стоит прямо на столе полуразобранный, долго вертит ручки, стучит кулаком по корпусу. В нем что-то начинает вращаться, но главное отказывает, а Олежка чешется и повторяет:

— Счас запашет. Под Боба Марли оттянемся. Ты только послушай, как он вторую долю качает. Вторую долю качает — и всех дел.

— Точно. Оттянемся. Я так уже начинаю, — сказал я и пошел в туалет.

Я долго тыкался в клавиши — свет зажигался то в ванной, то на кухне, то в коридоре, наконец мне повезло. Стены вокруг унитаза и бачок были заклеены рекламными вырезками, которые предлагали белозубую жизнь и «Кэмел», белозубых красавиц в ажурных трусах и пиво из шведских пивоварен, и все то, к чему я почти прикоснулся, и то, к чему ка морскую милю не подпустят никогда Олежку...

Было так:

моросит и я иду перекинув через плечо тугую сумку с пропотевшим спортивным костюмом боксерскими перчатками мокрыми трусами и полотенцем иду по бульвару имени революционного демократа Чернышевского к метро и у меня еще есть шикарный шанс почти последний в двадцать семь лет он у меня есть через неделю и на углу бульвара с улицей имени великого композитора Чайковского как-то вываливает контора такая сомнительная хотя мне-то что я и с левой кладу в сотую секунду без всякого гипноза крепкого кандидата а то и мастера но мне — Дай закурить — говорят под правую руку и я — Не курю — отвечаю и у меня более не спрашивают ничего только вполне тяжелым из-за спины в самую переносицу хотя нос ломаный-переломанный но не тяжелым же предметом тут же я снопом и'кровь как водопроводная вода дешевая эти же по ребрам так лениво ногами и помню первая мысль — Нет здесь никакой логики — и вторая — Она-то и есть главная логика когда ее нет никакой — и третья — Главное выкатиться из-под ног и тогда будет спарринг — И выкатываюсь вскакиваю в крови весь — Теперь финиш вам мальчики — говорю хотя они похоже не мальчики а я мильчик натуральный давший перепахать физию за неделю до главного шанса но ничего поехало ну и водит меня как пьяного но |раз пять провел им больно и три пропустил небольно поскольку мне уже не больно до сих пор ничего и то верно мальчики одно дело попинать беззлобно вроде футбольного шяча другое дело получить больно они и побежали от революционного демократа по великому композитору да обидно же остаться с перепаханной физией и идти больным куда-то в кровянице тогда я побежал за ними оставив сумку и шанс главный так хотел бы одного хотя бы войти в клинч и вцепиться «боксером» и боксером и сдаться каким-нибудь

прохожим милицейским чинам неизвестно откуда — это пришло в голову но выбрал одного и за ним как самонаводящая ракета а тот с воем ужаса убегает бежит залетает ер двор и там ловлю его в замкнутом пространстве и уже думаю сотрясенным своим мозгом плюнуть и на клинч и на милицейских чинов спасибо акустике петербургских дворов слышу сзади набегают остальные если бы не сотрясенный мозг они уже для меня в тумане и тут он понимает что начинается убийство и командует сделать им последний раз больно и не упасть пока»они делают не больно тогда рывком из последних сил на улицу прочь из двора это не улица, а картина Айвазовского там в картине на суденышке я в шторм палуба уходит из-под ног потому и набираю короткий номер в будке и вызываю скорую...

На кухню опять кто-то прошел, не так, как в первый раз, — тяжелыми мужскими шагами. Я подождал зачем-то, щелкнул задвижкой, вышел в коридорчик, соединяющий прихожую с кухней. В двух метрах от меня спиной к кухонному столу сидел молодой мужчина с бесцветным, однако крепко слепленным лицом, слепленным долгим временем, которое причудливо перемешало кочевую и славянскую кровь. На этом лице виделись большие остановившиеся глаза, почти без зрачков, похожие на два холодных осенних пруда. В мужской фигуре не чувствовалось силы, но — нездоровая тяжесть. Бесформенные плечи еле заполняли клетчатую рубашку с оторванными на рукавах пуговицами.

Я потушил в туалете свет. Мужчина смотрел на меня с холодной усмешкой. Он смотрел в меня. Он через меня смотрел, всматривался будто в сумеречную даль. Несколько смутившись, я кивнул приличия ради, а он, обрадовавшись, воскликнул:

— Здравствуй, Эльфира!

— Добрый вечер, — ответил я, смутившись окончательно, и поспешил в Олежкину комнату.

— Опять начал. Я этого ждал со дня на день, — сказал Олежка, когда я описал встречу с соседом, сказал со странным облегчением.

Он сидел на диване, вытянув жилистые ноги, обтянутые задрипанными джинсами и грыз ногти.

— Слушай! Мало что чешешься!

— Нервы. — Олежка догрыз ноготь. — Нервы замучили. И зуд — с ума сойти. Допивай, — сказал он, кивая на рюмку.

Рядом с диваном в распахнутом чехле лежала гитара. Чехол, обтянутый дерматином, повторял ее форму. Олежка нагнулся, погладил гриф, струны, колки.

— Убери с пола, наступишь.

— Что ты! Как это я наступлю? С ума ты сошел, — отвечал он ласково. — Красивая. С чехлом — полтыщи. Чешская перепечатка. Почти «Джипсон».

Он говорил с оттенком властной любви и признательности.

Мы так и сидели и говорили о безобидном, а после замолчали, и после молчания Олежка сказал, будто спрашивал разрешения:

— Слышь, невоготу? — И стал слегка почесываться.

— Да бог с тобой! — Я поднялся со стула и подошел к окну с рюмкой бутлегерской кислятины.

И вот я смотрю на майскую ночь самой ее черной поры, а за спиной Олежка через рубашку раздирает себя— до крови. Уж я видел раньше, как это у него получается.

Так продолжается долго.

И опять мы сидим возле стола и оттягиваемся кислятиной. «Да ведь точно будет изжога», — думается мне, а Олежка:

— Это противно. Понятно. Но если тебе противно, зачем, якшаешься с шелудивым? Тебе что же, легче на моем фоне? Тебе, может, жалко меня? Ты, может, думаешь, мне самому не противно? Мне даже более противно, чем бывшей, ведь-это противнее знать, что ты противен тому, кого любишь! А? — быстро проговаривает Олежка вопросы, на которые я. отвечать не собираюсь. Кажется, достали его кислые градусы «фонарей».

— Не говори глупостей.

— Отчего же глупости? И ногти грызу, и тело в кровь, а ты крутой такой мастер, всякому в рыло...

Его слова расплываются, слух уже не воспринимает их как нечто целое, как звуки, складывающиеся в смысл...

Так снова, в который раз оживает во мне то время:

прохожие ногами катают меня и не могут помочь олимпийские идеалы взлелеянные юношеством и честными учителями это катание обошедшееся сотрясением всего-то черепной коробки 'и трещиной в челюсти обернулось вдруг через; месяц открытием иного порядка — я не мог более бить в лицо другому я не мог более думать что другой хочет упарил-меня закрывал лицо руками в больших перчаткам вал глаза в тренировочном бою все равно меня аиаавали. понял это сразу после двух «тренировок муть не послал в insult честного тренера отдавшего мне столько лет сказал ему — Все! На этом все! Мне запретили врачи! Да это правда — все! Надо отдавать долги! Теперь и я буду тренировать! И я буду открывать юношам олимпийские идеалы! Да да — все! Я же сказал — спасибо! Да да! Нет! — Но самое-самое оказалось вовсе не этим главное оказалось другим я не мог открывать юношам олимпийские идеалы, искренне учить их уходить закрываться танцевать на ринге выманивая противника бить обманутого так чтобы у (того поплыло все так

легче добить с мог долой а если встанет до десяти добить окончательно чтобы не встал даже не мог смотреть как они колотят по „грушам“ как блестят азартом честолюбия глаза это значит профессиональная непригодность наверное невроз но более на свете я ничего не умел да и теперь пожалуй не умею...

— Брось болтать, Олежка, — говорю я. — Чешись на здоровье. Все мы тут... Ты, я, сосед твой. Все мы тут... Брось.

За стеной у соседей упал стул, и через мгновение захныкал ребенок. Под мужскими шагами охнули в коридоре половицы, а от толчка в кухонной двери вздрогнуло стекло. С кухни в Олежкину стену три раза ударили зло, Олежка дернулся на диване, но не встал, буркнул только:

— Охренел, совсем охренел, — а затем добавил веселее: — Мы тут подрались не помним из-за чего, он мне на голову дуршлаг с лапшой одел. — Олежка замолчал, прислушался к тревожным мелким шагам за дверью и прокомментировал:— Жена пошла... М-да, может и врезать.

Но на кухне было тихо. Олежка для порядка крутанул ручку в магнитофоне, — неожиданно завертелись бобины, чуть слышно запел Боб Марли, уже вовсю качал свои любимые вторые доли и убаюкивал ямайской хрипотцой. Ночь теперь просветлела над городом, но для меня это не имело значения. Дремота вернула меня на освещенный квадрат ринга. Я лежал там, сбитый с ног, и уже «6» и «7» считал Единственный Рефери, и надо было подняться и противостоять. Нет никого вокруг меня, кроме света, но все равно и в дреме звучало усвоенное как закон: надо подняться и противостоять... В эту дрему вдруг вторглись звуки, но не музыки; они находились пока на окраинах сознания,

где-то за рингом, за канатами, за белым светом боя неизвестно с кем, за счетом Рефери «8» и «9»...

Как-то одновременно замолк Боб Марли и заговорил Олежка, толкая меня в плечо:

— Саш, слышь, Саш! Я и сам кемарю. Слышь, Саша, он, по-моему, натворил. Ты понял?

Я не понял. Я открыл глаза и посмотрел на Олежку. И еще посмотрел в окно на серый рассвет. Всегда вот так: ночь коротка, лишь когда ты хочешь, чтобы она не кончалась.

— А она-то что, она? Она-то как же? Ты не понимаешь? А он-то что, он? И зачем? Бывает разве так, нет? Ты не понял ничего, неужели заснул, заснул? — Олежка стоял надо мной и показывал на окно. — Там! — сказал он. — Там посмотри. А мне страшно.

Я открыл окно и посмотрел вниз. Да, это я лежал так тогда на перекрестке Демократа с Композитором под жестокими ударами незнакомых ног, лежал с тем, чтобы выкатиться, встать в полный рост и чуть-чуть, сколько получится, но все-таки дать сдачи.

На квадратном дне колодца, похожего на ринг, копилась вонь, как на дне настоящего колодца вода. Сумрак отступил туда. Будто Единственный Рефери сказал «10», бой окончился и потушили свет.

И на дне высыхающего колодца-ринга лежал не я. Не я лежал там, вытянувшись тяжело и мертво. Не я лежал там, вытянувшись, может быть, первый раз в жизни. В полный рост.

UNDERTURE II. ХОЖДЕНИЕ НА ЛУНЕ

Мы не виделись лет четырнадцать, и я вообще не рассчитывал встретить его, а если и представлял нашу встречу, то она должна была выглядеть вот так.

Осенний день, в капризном небе висит небрежное солнце, небо заволакивает туча, и начинает моросить дождь. Я иду по вымощенной булыжниками улице. С одной стороны ряд щедро декорированных зданий, с другой — дощатый, худой и скользкий от дождя забор, канава, заросшая лопухами, полутораметровыми колючками. Под забором в канаве барахтается человек. Он бессвязно разевает рот. Глаза его в обрамлении синяков, на грязных брюках расстегнуты пуговицы. Это он! А я — тот, кто идет нарядный под зонтом на свидание с преданной красавицей. Я чуть задерживаюсь, понимающе пожимаю плечами и продолжаю путь.

Что-то в подобном духе мне представлялось.

И мы встретились. Была осень в Риге. Католическая магия сентября вокруг. Через четырнадцать лет он предстал передо мной — доктором наук, — счастливый человек, очень похожий на ученого: коротковатые брюки, пиджак в серую полоску с лоснящимися лацканами, белесый ежик на шишковатой голове и странно выцветшие глаза, устремленные вдаль.

Квazarы, двойные звезды — вот, пожалуй, самое доступное для непосвященного из того круга вопросов, которые стояли перед участниками симпозиума в Риге. Кромешные дали и гипотетичность всякого выступления настолько разделили в большинстве вопросов теоретических астрономов, а в Риге собрались

именно теоретические астрономы, что разговор велся в основном только с бесстрастной помощью цифр.

Он был счастливым доктором, а я — лишь несчастным кандидатом. И несчастье мое происходило из, казалось бы, сущего пустяка — мой доклад сняли в связи с сокращением программы симпозиума.

Я подошел к нему в перерыве между заседаниями и коснулся плеча.

— Валерка... Валерий... То есть, простите... Валерий Никитич...

Его доклад приняли на ура, выраженное астрономами сдержанно, в коротких рукопожатиях.

— Да-да, — ответил Валерий Никитич, оборачиваясь ко мне. — Я вас слушаю.

Он долго смотрел в упор, после как-то по-девичьи склонил голову и покраснел.

— Это ведь ты, Дмитрий? Да-да. Как живешь? Где?

Я уютно жил в каких-то десяти километрах от Эрмитажа в высотном здании кирпичного кооператива, и в мои окна можно было любоваться рассветом, а также закатом, загоравшимися над Сосновским парком.

— Не думал тебя встретить, — сказал я совсем не то, что хотел.

И я покраснел. Наша встреча произошла вовсе не у забора.

— А я вот частенько, понимаешь ли, вспоминаю и тебя, и остальных, — проговорил доктор Огурцов извиняющимся баритоном. — Я должен уйти сейчас, но мы встретимся вечером? Очень хотелось бы. Дмитрий, не отказывайся!

Я не смел отказываться, мне и впрямь очень хотелось поговорить подробно. Огурцов прошел по коридору, то и дело отвечая на рукопожатия, они значат гораздо больше, чем ворох тюльпанов, которым забрасывают певицу, а завтра, глядишь, и забудут, как звали.

До вечера оставалось еще несколько часов, и я вспомнил, что связывало меня с доктором Огурцовым.

Валерка Огурец считался пропащим человеком на курсе. Кто-то сказал, что он кончит под забором, и мы не сомневались в этом. На физмате народ подобрался чопорный, а Огурец вел «образ жизни».

— Пусть у меня лишь образ жизни, — говорил он всякий раз, явившись на вторую пару, благоухая дрянным вином. — А у вас и вовсе не жизнь, а тление.

После первого курса Огурец вызвался быть казначеем и часть стройотрядовских денег, выделенных на какие-то спортивно-танцевальные мероприятия, прогулял в ресторане «Кавказский» с пышной секретаршей из главного корпуса. Спортивно-танцевальной суммы не хватило на покрытие скромного «кавказского» счета, а пышную блондинку умыкнули горцы. Так хвастался Огурец на следующий день и просил денег взаймы на поправку. Наши физматовские души роптали, но руки сами по себе шарили по карманам в поисках родительского рубля, и рубли перекечевывали к Огурцу, здоровье его поправлялось, и все повторялось снова. Он стащил бронзовую пепельницу у Гаврильчика, за что Гаврильчика подвергли семейному осуждению. Он разбил голубой унитаз в мастерской у отца Залманова, профессора живописи, где его физматовский отпрыск устроил прием, после его вытошнило в кадку с фикусом. Он комбинировал с нашими стипендиями — брал взаймы, обещая что-либо достать, не возвращал, снова брал, крутился возле «Европейской», был бит неоднократно в кафе «Север» тамошними законодателями. А наши физматовские души все роптали. Станным образом продержавшись в Университете до третьего курса, Огурец был позорно исключен и пропал. Деканат вздохнул облегченно, а мы с прежней надменностью продолжили ученье, но вот теперь в Риге, и вовсе не

под забором, а на лакированной трибуне Огурцов, счастливый ученый, читает замечательный доклад, а я...

Вечером мы встретились.

Домский собор — это Домский собор, и площадь перед ним — Домская. Я ждал Огурцова, сидя на скамеечке возле мертвого осеннего фонтана, на дне которого уже давно не было декоративной фонтанной воды, а лишь остатки дождей и завядшие листья. Он вышел из-за угла все той же странной, какой-то извиняющейся дерганой походкой, крутя головой, на которой криво сидел берет. Площадь казалась сумрачной, а собор походил на огромную каменную руку, согнутую в локте.

Мы зашли в кафе и сели за столик. Я заказал ликер и кофе, думая, с чего же начать разговор. О чем говорить с теоретическим астрономом такого масштаба? Говорить мне с Валеркой Огурцом или с Валерием Никитичем Огурцовым?

Незаметная официантка принесла кофе и рюмочки. Огурцов как-то боязливо, неумело даже покрутил рюмку в руках и сказал:

— У меня сегодня случилась уйма дел, но все равно я размышлял о нашей встрече. Никуда не деться от воспоминаний. Я ведь испугался, когда увидел тебя днем,

Я прикоснулся губами к рюмочке, думая, что бы ответить.

— Мне кажется теперь, — продолжил Валерий Никитич еще более взволнованно, — что человек состоит из множества оболочек. Из множества соединенных в один шар камер. И когда заполняется одна из этих камер, чаще всего совсем не та, что должна... То есть, я хочу сказать, мы не знаем совсем, из каких камер состоим. Бывает, что и не одна, а несколько заполнены и тащат нас в разные стороны,

как лебедь, рак и щука, и нужен случай, чтобы... да! нужен счастливый случай, чтобы игла судьбы, назовем ее так, проколола именно ту, которую должна... Прости, я волнуюсь и сумбурно говорю. Глупо теперь извиняться за себя прежнего, потому что сейчас меня-то тащит совсем другая камера...

Кафе еще хранило тепло недавнего августа, и посетительницы, снимая плащи, оказывались в летних платьях, открывающих загар плеч и рук. От светильников разливался розовый полумрак, сгущавшийся по углам. Мелодично позвякивали ложечки.

— Мне очень понравился твой сегодняшний доклад, — сказал я.

— Да-да, — почти шепотом ответил Огурцов.

Взгляд его устремлялся вдаль.

— Хочу, чтобы ты меня выслушал, — попросил он, поднял чашечку и шумно отхлебнул. — Так сказать, игра судьбы... Это совершенно глупая история, но ведь счастливая! — Огурцов засмеялся.

— Мы не виделись столько лет и встретились, честно говоря, в совершенно неожиданном качестве, — сказал я.

За ближним столиком сидела старушка в модной брючной паре, прямо держа спину, как старательная первоклассница за партой, и скармливала песику, сидящему рядом, кусочки торта, цепляя их ложечкой с тарелки. Лохматый песик привередливо отворачивался.

— То, чем я занимался все три года на физмате, стараюсь не вспоминать, но иногда накатывают воспоминания, — начал Валерий Никитич. — Меня до сих пор мучают кошмары тех лет. «Каковы причины?» — спрашиваю я себя и не нахожу ответа. Вообще-то, я был чуть старше вас. В прошлом была армия и несчастная любовь. Любовь... да... Но все равно я не могу объяснить... Когда меня исключили... Это началась не

жизнь, и даже не образ жизни. Каждый день приходилось добывать деньги. Не бог весть какие суммы, но это была изматывающая гонка. Хватало лишь на очередное застолье и случайную подделку под любовь. Даже бедный «Санкт-Петербург» кинул на аппарат... В один из вечеров в малознакомой компании я познакомился с Майклом. Белобрысый крепыш оказался американцем, и мы полвечера разговаривали про всякое, пока я не охмелел, как обычно. На следующий день Майкл появился снова, и снова мы выпивали. Знаешь этот плавучий ресторан на Неве!..

Я знал ресторан на Неве. Туда переключивал солидный процент от наших стипендий, когда мы позволяли себе несколько освободиться от чопорности.

— Майкл изучал русский язык, практиковался то есть. Интересовался классической русской литературой. Говорил чисто, с чуть заметным акцентом. Он был рубаха парень и пил наравне. Как-то я пожаловался Майклу о своих делах, и он посочувствовал...

Валерий Никитич волновался и говорил сбиваясь, а я с неослабевающим вниманием слушал его, по-прежнему ошеломленный тем огромным расстоянием, которое отделяло Огурцова той поры от нынешнего докторства.

— Мы с Майклом прогуливались по Невскому, перепрыгивая через октябрьские лужи, и когда начался дождь, я взял на последние семь рублей — тогда это так стоило — взял бутылку водки в такси. Пошли ко мне. Я снимал комнату в центре. Ты помнишь! Потом Майкл сказал, что несправедливо, если такой парень, как я, пропадает от безденежья. Он уезжал через три дня, и у него оставалось около пятисот баков. Деньги оказались при нем — ровно пять сотен. Он просил за них тысячу. «С тебя штука», — похвастался Майкл знанием жаргона. Я не стал глупить, но у меня не было своих денег. Последние семь рублей я отдал таксисту. Тогда я достал из дивана тысячу, взятую для каких-то

комбинаций у ребят из «Севера». Неделю назад выгорало дельце, но не выгорело, и деньги следовало отдать утром. Тысячу и еще сотню процентами за ссуду. Тогда я ловко разбирался в подобных делишках. Я отдал Майклу тысячу, а он отсчитал мне пять сотен пятидесятидолларовиками. Помню, я порывался еще сбегать на стоянку, но рубли кончились. Майкл ушел, а я заснул на незастеленном диванчике. Утром ужасно болела голова, но доллары были на месте. Я отлежался до полудня и отправился в «Север», где меня уже поджидал Череп. Имелся там некто с такой кличкой. Я показал ему доллары, он загорелся, согласился взять. За двести пятьдесят долларов он погасил долг с процентами. К вечеру в кармане пиджака шуршали новенькие червонцы, а в потайном карманчике еще оставались доллары. Даже не стал выпивать, как обычно, — не хотелось терять ясного ощущения богатства и удачливости. В четыре часа утра ко мне позвонили. Спросонья я долго шел по коридору, цепляясь за соседские вешалки, открыл. На пороге стоял Череп и еще двое из «Севера». «Вы чего?» — помню, спросил я недовольно. Теперь мое недовольство имело под собой солидную опору из червонцев. «Есть дельце, — пробурчал Череп, проходя мимо меня в коридор. — Очень важное дельце!» Мы прошли в комнату, и Череп сперва съездил мне в глаз, а после схватил за волосы и ударил коленкой в лицо. «Теперь можно разговаривать, — удовлетворенно сказал Череп и спросил меня: — Ты космонавт?» «Какой, к черту, космонавт!» — ответил, я вытирая кровь. «Вот и я не космонавт», — сказал Череп. Кровь из носу у меня хлестала вовсю. «Теперь давай разберемся», — ухмыльнулся Череп и достал из куртки сложенный пятидесятидолларовик...

Валерий Никитич замолчал. Глаза его возбужденно блестели. Он сделал глоток из рюмочки, заглянул в нее

с интересом.

— Вкусно! Давно, понимаешь ли, не приходилось вот так вот сидеть.

Мне же не терпелось услышать конец истории, и я, не удержавшись, спросил:

— А дальше что? Доллары оказались фальшивыми?

Валерий Никитич отодвинул рюмочку и улыбаясь ответил:

— Нет! Это были самые настоящие доллары. Самые настоящие пятьсот баков, но там имелась небольшая оговорочка. Они имели хождение на Луне.

Не стоит объяснять, каково было мое изумление.

— На какой Луне? — задал я несуразный для астронома вопрос.

— Все очень просто, — ответил доктор Огурцов. — Американцы, слетав на Луну, выпустили целую серию юбилейных долларов. Игрушечных! Совершенно таких же долларов, только с коротким добавлением: «Имеют хождение только на Луне». Тысяча долларов лунных за один доллар земной. А я и не разглядел. Да и не разглядывал. Потом я частенько вспоминал Майкла с благодарностью. Череп и его дружки вынесли из моей комнаты всё, что можно. Пластинки, одежду, две старые иконы, письменный стол, унесли и стопку книг... Я остался сидеть в пустой комнате на табуретке возле окна, а на светлеющем небе еще виднелась Луна — огромная, в пятнах, зеленоватая, как доллар. Я сидел на табуретке целый день и еще ночь, и хмель выходил из меня. И вместе с хмелем выходило что-то другое. Я просидел, почти не вставая, почти неделю или больше. Этаким сморщенный шар с единственной проколотой камерой. И когда во мне начала раздуваться вторая камера, когда я почувствовал это... Нет, это было лишь только предощущение. Ночи стояли ветреные, ясные, и луна торчала в небе до утра... После я уехал на Алтай,

поработал там два года, затем поступил в Университет в Москве, и вот мы встретились...

Около десяти я подзвал официантку и рассчитался. Огурцов пытался заплатить сам, но я пристыдил его. Официантка положила в расшитый передник монетки, поблагодарила, приглашала приходить еще. В ворсе ковровой дорожки мягко утопали подошвы. Мы спустились по лестнице на первый этаж. Белобрысый толстяк швейцар, затянутый в синий костюм с галунами, приветливо улыбнулся, открывая дверь, а Валерий Никитич даже пожал ему на прощанье руку.

— Заходил вчера сюда, — сказал мне Огурцов. — Хотел дочке профессора Григорьяна купить шоколадку. Обещал привезти. Ты не куришь?

— Бросил, — ответил я. — Хотя...

— Я тоже бросил. Но сейчас хочется. Разволновался, понимаешь ли. Вот Рига, незнакомый город, а навалилось прошлое... Может, у швейцара есть сигареты.

Он вернулся в кафе. Через десять минут мы стояли в низком подъезде и курили. Коротко вспыхивали и меркли огоньки. Юркнула кошка, зеленовато блеснув зрачками. Начался было разговор о симпозиуме, но оборвался. Он прочитал замечательный доклад, а мой доклад сократили. Получалось, что говорить не о чем. Мы обменялись адресами, и я проводил Огурцова до гостиницы. Молча перекурили в холле. Валерий Никитич обернулся ко мне. В теле его почувствовалось напряжение, а глаза смотрели в упор.

— Я уже вчера заходил в кафе, — сказал Огурцов.

— Хорошее кафе, — согласился я. «О чем это он?»

— Не в этом дело, — Огурцов потер переносицу и откинулся в кресло, повторив: — Не в этом дело... Ты не обратил внимание на швейцара? Нет? Вчера и я не обратил сперва. Очень хороший человек, старше меня года на три, семьянин. Мы вчера разговорились...

Я не понимал, для чего он вспоминает швейцара. Столько было сказано сегодня и в стольком еще предстояло разобраться. Разговаривать о швейцаре мне показалось делом неуместным, но Огурцов продолжил:

— Вчера я узнал его. Майкл заметно сдал. Я все-таки узнал его, а он вчера испугался. Ты бы видел! Мне хотелось его расцеловать, но я как-то постеснялся. А зря! Я пригласил его на завтрашнее заседание, он не дурно разбирается в теоретической астрономии. Дал ему свой московский адрес...

Моя гостиница находилась в другом конце города. Я шел узкими улицами через центр и думал об Огурцове, о тех годах моего чопорного студенчества, которые в итоге заменила мелкопоместная кооперативная житуха, и мелкотемье в науке, в моей науке, хоть и науки в ней по щиколотку. Я думал об истории Огурцова, об этом анекдоте, о пятистах баках, имевших хождение на Луне.

Но я-то имел хождение на Земле! И мне стало радостно от удачной мысли — оправдывающей, объясняющей. Камни мостовой блестели от дождя. И вдруг разом померкла моя успокоительная радость — ведь все не правда. Я имею хождение по камням мостовых, асфальту, линолеуму кооператива, коврам кабинетов, по паркету вечеринок... Какая-то чертовщина мешает все время ходить по Земле.

Я зашел в сквер. С неба еще моросил дождь, но тучи уже растаскивало ветром. Уже виднелась ровная темень и заблестели звезды. Я снял ботинки, носки и пошел по траве, наступая на собачьи какашки. Ноги мерзли. Я долго ходил по Земле и радовался своему фактическому хождению, а не теории. В теориях мы все преуспели.

Вдруг резко посветлело. Я поднял голову. Над головой мерцал кошачий зрачок Луны. Огромный, в пятнах. И ощущал, что неведомая еще камера

заполняется во мне. Мерзли ноги. Ветерком шевелило травинки, и пахло сыростью. Я так и стоял с ботинками в руках.